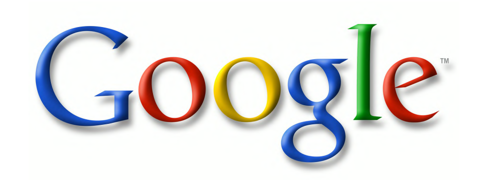
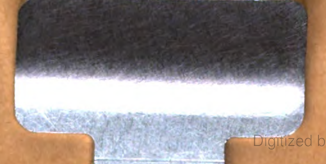


В. ВЕРЕСАЕВ

В ЮНЫЕ ГОДЫ


Digitized by Google


ИЗДАТЕЛЬСТВО
НЕД
Р
А

В. В. ВЕРЕСАЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

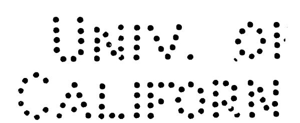
т. XI

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«НЕДРА»
МОСКВА — 1928

В. ВЕРЕСАЕВ

В ЮНЫЕ ГОДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«НЕДРА»
МОСКВА — 1928

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
ХУДОЖНИКА
В. СВИРСКОГО



Москва. Главлит А 13.598. 5.000 экз.

«Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9.



1878 г.

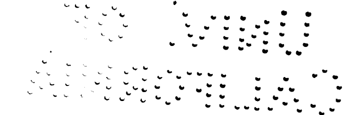
Краткую свою автобиографию Юм начинает так: «Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия». Это верно.

Но то, что я тут описываю, было пятьдесят лет назад и больше. Совсем уже почти, как на чужого, я смотрю на маленького мальчика Витю Смидовича, мне нечего тщеславиться его добродетелями нечего стыдиться его пороков. И не из тщеславного желания оставить «потомкам» описание своей жизни пишу я эту автобиографию. Меня просто интересовала душа мальчика, которую я имел возможность наблюдать ближе, чем чью-либо иную; интересовала не совсем средняя и не совсем обычная обстановка, в которой он рос, тот своеобразный отпечаток, который наложила на его душу эта обстановка. Буду стремиться только к одному: передавать совершенно искренно все, что я когда-то переживал,—и настолько точно, насколько все это сохранилось в моей памяти. Встретится немало противоречий. Если бы я писал художественное произведение, их следовало бы устранить или согласовать. Но здесь,—пусть остаются! Помню я так, как описываю, а присочинять не хочу.

Я сказал: для меня этот мальчик теперь почти совсем чужой. Пожалуй, это не совсем верно. Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я—«писатель», «доктор», что мне скоро шесть-

десят лет,—все это только нарочно; немножко поскрести,—и осыплется шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха.

9 сентября 1925 г.



Я родился в Туле, 4/16 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная: мать отца была немка, дед моей матери был миргородский хохол, его жена, моя прабабка,—гречанка.

Мой отец, Викентий Игнатьевич Смидович, был врач. Он умер в ноябре 1894 г., заразившись сыпным тифом от больного. Смерть его вдруг обнаружила, какою он пользовался популярностью и любовью в Туле, где всю жизнь работал. Похороны его были грандиозные. В лучшем тогда медицинском еженедельнике «Врач», выходившем под редакцией проф. В. А. Манасеина, в двух номерах под-ряд были помещены два некролога отца, редакция сообщала, что получила еще два некролога, которых за недостатком места не печатает. Вот выдержки из напечатанных некрологов. Тон их—обычный слащаво-хвалебный тон некрологов, но по существу все передается верно. Один из некрологистов писал:

> Кончив в 1860 г. курс в Московском Университете, Викентий Игнатьевич начал и кончил свою общественную службу в Туле. Высоко-образованный и человечный, в высшей степени отзывчивый на все доброе, трудолюбивый и до крайней степени скромный в своих личных требованиях, он всю свою жизнь посвятил служению городскому обществу. Не было ни одного серьезного городского вопроса, в котором бы так или иначе Викентий Игнатьевич не принимал участия. Он был в числе учредителей Общества Тульских Врачей. Ему же принадлежит мысль об открытии Городской Лечебницы при О-ве врачей,—этого единственного в городе всем доступного учреждения. Все помнят Викентия Игнатьевича, как гласного Городской Думы: ни один серьезный вопрос

в городском хозяйстве не проходил без его деятельного участия. Но наибольшая его заслуга, это—изучение санитарного состояния города. Метеорологические наблюдения, изучение стояния грунтовых вод и их химического состава, исследование городской почвы, направления стоков,—все это велось одним Викентием Игнатьевичем с удивительным постоянством и настойчивостью. Он принимал деятельное участие и в работах Статистического Комитета, провел мысль о необходимости однодневной переписи, и разработкою ее с санитарной точки зрения положил прочное начало санитарной статистике в Туле. Он устроил Городскую Санитарную Комиссию и до самой смерти был ее главным руководителем и работником.

Во всех общественных учреждениях, в которых он участвовал,—пишет автор другого некролога,—Викентий Игнатьевич пользовался большим уважением и авторитетом, благодаря своему уму, твердости убеждений и честности. Везде он был самым деятельным членом, везде много работал,—больше, чем казалось бы возможным при его обширной и разнообразной деятельности... Он пользовался в Туле обширною популярностью не только как врач, но и как хороший человек. Как пояснение отношения к нему населения, я могу привести, между прочим, следующий характерный факт: католик по вероисповеданию, он был выбран прихожанами православной Александро-Невской церкви в члены приходского попечительства о бедных. В. И. был широко образованный человек, и не было, кажется, такой научной области, которою бы он не интересовался. В доме своем он имел недурно обставленную химическую лабораторию, которую с готовностью отдал Санитарной Комиссии, не имевшей вначале собственной лаборатории. Викентий Игнатьевич оставил после себя хорошее минералогическое собрание и обширную библиотеку по самым разнообразным отраслям знания... Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, вместе с природным недюжинным умом, обладают обширным образованием, добрым сердцем, благородным характером и скромностью истинного философа... Вне сомнения,—замечал один из некрологов,—в ближайшее время появится подробная биография этого замечательного человека *(«Врач», 1894, №№ 47 и 48)*.

Таков он был. И до последних дней он кипел, искал, бросался в работу, жадно интересовался наукою, жалел, что для нее так мало остается у него времени. Когда мне приходилось читать статьи

и повести о засасывающей тине провинциальной жизни, о гибели в ней выдающихся умов и талантов, мне всегда вспоминался отец: отчего же он не погиб, отчего не опустился до обывательщины, до выпивок и карт в клубе? Отчего до конца дней сохранил свою живую душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства?

Помню,—это уже было в девяностых годах, я тогда был студентом,—отцу пришлось вести продолжительную, упорную борьбу с губернатором из-за водопровода. Тульским губернатором в то время был Н. А. Зиновьев, впоследствии правый член Государственного Совета по назначению. В Туле сооружался водопровод. Был под городом Рогоженский колодезь с прекрасной водой. За эту воду энергично высказалось общество тульских врачей с его председателем, моим отцом, во главе. Но губернатор почему-то остановил свой выбор на Надеждинском колодце. Из самодурства ли, по каким ли другим причинам, но он упрямо стоял на своем. Между тем, Надеждинский колодезь давал воду очень жесткую, вредную для труб, расположен был на низком месте, невдалеке от очень загрязненной рабочей слободы. Два года тянулась борьба отца с губернатором. Отец выступал против него в городской думе, в санитарной комиссии, в обществе врачей; конечно, потерял место домашнего его врача. Всемогущий губернатор одолел, и Тула получила для водопровода плохую надеждинскую воду.

Отец мой был поляк и католик. По семейным преданиям, его отец, Игнатий Михайлович, был очень богатый человек, участвовал в польском восстании 1830—1831 г., имение его было конфисковано, и он вскоре умер в бедности. Отца моего взял к себе на воспитание его дядя, Викентий Михайлович, тульский помещик, штабс-капитан русской службы в отставке, православный. В университете отец сильно нуждался; когда кончил врачом, пришлось думать о куске хлеба и уехать из Москвы. Однажды он мне сказал:

— Сложись для меня тогда обстоятельства иначе,—

Я мог бы быть в краю отцов
Не из последних удальцов.

Отец поселился в Туле, в Туле и женился. Сначала служил ординатором в больнице Приказа Общественного Призрения, но с тех пор, как я себя помню, жил частной врачебной практикой. Считался одним из лучших тульских врачей, практика была огромная, очень много было бесплатной: отец никому не отказывал, шел по первому зову и очень был популярен среди тульской бедноты. Когда приходилось с ним итти по бедняцким улицам,—Серебрянке, Мотякинской и подобным,—ему радостно и низко кланялись у своих убогих домишек мастеровые с зеленоватыми лицами и истощенные женщины. Хотелось, когда выростешь, быть таким же, чтобы так же все любили.

Жизнь он вел умеренную и размеренную, часы еды были определенные, вставал и ложился в определенный час. Но часто по ночам звенели звонки, он уезжал на час, на два к экстренному больному; после этого вставал утром с головною болью и весь день ходил хмурый.

Жизнь он видел в мрачном свете и всегда ждал от нее самого худшего. Наши детские выходки и прегрешения он воспринимал очень остро и делал из них заключение о нашем совершенно безнадежном будущем. Когда мне было лет 12—13, новая, постоянно грызущая душу боль вошла в жизнь отца, это—постепенный, все увеличивавшийся упадок практики. Когда отец приехал в Тулу, их было врачей на весь город человек пять-шесть. Теперь было уже 20—30 врачей, и то и дело приезжали и селились новые молодые врачи. Отец встречал их очень радушно, помогал советами, указаниями,—всем, чем мог. Но естественным результатом увеличения количества врачей было то, что часть практики переходила к новоприбывшим. А семья наша была большая, детей нас было восемь человек, мы росли, расходы увеличивались. Часто, повидимому, отцом овладевало отчаяние, что он не сможет сам поставить на ноги всех детей,—и иногда он говорил нам, старшим двум братьям:

— Я воспитал вас,—а ваше дело будет, когда я умру, воспитать младших братьев и сестер.

Должно быть, очень глубоко мне тогда вошло в душу настроение отца, потому что я и теперь часто вижу все один и тот же сон: мы все опять вместе, в родном тульском доме, смеемся, радуемся,

но папы нет. То-есть, он есть, но мы его не видим. Он тихонько приезжает, украдкою пробирается в свой кабинет и там живет, никому не показываясь. И это оттого, что у него теперь совсем нет практики, и он стыдится нас. И я вхожу к нему, целую его милые старческие руки в крупных веснушках, и горько плачу, и убеждаю его, что он много и хорошо поработал в своей жизни, что ему нечего стыдиться, и что теперь работаем мы.. А он молча на меня смотрит,—и отходит, и отходит, как тень, и исчезает.

Дела у отца было по горло. Помимо врачебной практики и общественной городской деятельности, у него всегда была масса работ и начинаний. Из года в год он вел метеорологические наблюдения. Три раза в день записывались показания барометра, максимального и минимального термометра, направление и сила ветра. На дворе стояла деревянная колонка с дождемером, в глубине двора, у навеса, вздымался высоченный шест с флюгером. Записи, впрочем, больше вела мать; часто они поручались и нам.—Отец вел широкие статистические работы; я помню его кабинет, весь заваленный стопочками разнообразных статистических карточек. В их сортировке и подсчете отцу помогали и мать, и мы. Ряд статистических работ отца был напечатан в журналах. Вышла и отдельная книга: «Материалы для описания города Тулы. Санитарно-экономический очерк».

Когда я еще был совсем маленьким, отец сильно увлекался садоводством, дружил с местным купцом-садоводом Кондрашовым. Иван Иваныч Кондрашов. Сначала я его называл Ананас-Кокок, потом—дядя-Карандаш. Были парники, была маленькая оранжерея. Смутно помню теплый, парной ее воздух, узорчатые листья пальм, стену и потолок из пыльных стекол, горки рыхлой, очень черной земли на столах, ряды горшечков с рассаженными черенками. И еще помню звучное, прочно отпечатавшееся в памяти слово «рододендрон».

На все, что кругом, отец не мог смотреть, не пытаясь вложить в это своих знаний и творчества. Помню, под его руководством печники клали печку в столовой. Они разводили руками и доказывали, что ничего из этой печки не выйдет. Но отец, приезжая от

больных, каждый день проверял их работу, намечал, что делать дальше, и добродушно отшучивался на их предсказания о никчемности всей их работы. Печку сложили, затопили; оказалась великолепная; самым небольшим количеством дров нагревалась замечательно, вентилятор в ней действовал превосходно. Печники чесали за ухом и удивленно разводили руками.

Очень любил отец изобретать для себя новую мебель; был для этого у него столяр, которому он ее заказывал. То-и-дело появлялось у нас в доме какое-нибудь мебельное сооружение вида самого неожиданного. Помню деревянную двухспальную кровать со столбиками, поддерживавшими деревянную настилку, на которую можно было ставить, что угодно. Через год-другой кровать была ликвидирована. Помню огромный двускатный письменный стол у отца в кабинете, заниматься за ним можно было только стоя; если сидя, то на очень высокой табуретке. По бокам стол был обтянут зеленым коленкором, а внутри стола была устроена кровать: на ней отец спал года два. Воображаю, какая была духота! И это сооружение вскоре было ликвидировано. Вообще, не скажу, чтобы мебельные фантазии отца были особенно удачны: после годовой-двухгодовой жизни каждая из них отправлялась доживать свой век в амбаре или кладовой.

Странное дело! Отец был популярнейшим в Туле детским врачом, легко умел подходить к больным детям и дружить с ними, дети так и тянулись к нему. Много позже мне часто приходилось выслушивать о нем восторженнейшие воспоминания бывших маленьких его пациентов и их матерей. Но мы, собственные его дети, чувствовали к нему некоторый почтительный страх; как мне и теперь кажется, он был слишком серьезен и ригористичен, детской души не понимал, самые естественные ее проявления вызывали в нем недоумение. Мы его стеснялись и несколько дичились, он это чувствовал, и ему было больно. Только много позже, с пробуждением умственных интересов, лет с 14—15, мы начинали ближе сходиться с отцом и любить его.

Другое дело—мать. Ее мы не дичились и не стеснялись. Первые десять-пятнадцать лет главный отпечаток на наши души клала она. Звали ее Елизавета Павловна. В самых ранних моих воспомина-

ниях она представляется мне,—полная, с ясным лицом, как, со свечою в руке, перед сном бесшумно обходит все комнаты и проверяет, заперты ли двери и окна, или как, стоя с нами перед образом с горящею лампадкою, подсказывает нам молитвы, и в это время ее глаза лучатся так, как будто в них какой-то свой, самостоятельный свет.

Она была очень религиозна. Девушкою собиралась даже уйти в монастырь. В церкви мы с приглядывающимся изумлением смотрели на нее: ее глаза сияли особенным светом, она медленно крестилась, крепко вжимая пальцы в лоб, грудь и плечи, и казалось, что в это время она душою не тут. Веровала она строго по-православному, и веровала, что только в православии может быть истинное спасение.

Тем удивительнее и тем трогательнее была ее любовь к мужу,— католику и поляку; больше того,—во время женитьбы отец даже был неверующим материалистом, «нигилистом». Замужество матери возмутило многих ее родных. И произошло оно как раз в 1863 году, во время восстания Польши. Двоюродный брат мамы, с которым она была очень дружна, богатый ефремовский помещик, тогда ярый славянофил (впоследствии известный сельский хозяин), совершенно даже прервал с мамой всякое знакомство.

С тех пор, как я себя помню, отец уже не был нигилистом, а был глубоко верующим. Но молился он не так, как мы все: крестился не тремя пальцами, а всею кистью, молитвы читал по-латыни, в нашу церковь не ходил. При молитве глаза его не светились таким светом, как у мамы; он стоял, благоговейно сложив руки и опустив глаза, с очень серьезным и сосредоточенным лицом. На большие праздники в Тулу приезжал из Калуги ксендз,—и тогда папа уходил в ихнюю, католическую церковь. И постился он не так, как мы,—с молоком, с яйцами. Но когда я был уже в гимназии, папа перешел на общий с нами православно-постный стол,—без яиц и молока, часто без рыбы, с постным маслом. Мама в душе глубоко верила, что, как папа от безбожия пришел к вере, так от католичества придет к православию. Папа к обрядам относился равнодушно, видел в них только воспитывающее душу значение, но в православие не переходил. Когда он умирал, мама заговорила с ним о переходе в православие. Но он в смятении и муке ответил:

— Лизочка, не требуй от меня этого. Как ты не понимаешь? Когда наш народ и наша вера угнетены, отречься от своей веры— значит отречься от своего народа.

У мамы был непочатый запас энергии и жизненной силы. И всякую мечту она сейчас же стремилась воплотить в жизнь. Папа же любил просто помечтать и пофантазировать, не думая непременно о претворении мечты в жизнь. Скажет, например: хорошо бы поставить у забора в саду беседку, обвить ее диким виноградом. Назавтра в саду уже визг пил, стук, летят под топорами плотников белые щепки.

— Что это?

— Беседку строят.

— Какую беседку?

— Ты же сам вчера сказал.

— Так это же я так только...

Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек: горничная, няня, кухарка, прачка, кучер, дворник. Но для мамы как будто мало было всех хлопот с детьми и по хозяйству. Она постоянно замышляла какое-нибудь весьма грандиозное дело. Когда мне было лет шесть-семь... Счисление я буду вести по своему возрасту, это—единственное счисление, которое применяет ребенок. Так вот, когда мне было лет шесть-семь, мама открыла детский сад (предварительно пройдя в Москве курсы фребелевского обучения). Он пошел хорошо. Но не только не давал дохода, но и поглощал весь папин заработок; пришлось его закрыть. Когда мне было лет четырнадцать, куплено было имение; мама стала вводить в хозяйство всевозможные усовершенствования, все силы положила в него. Но имение стало поглощать весь папин заработок. Через три-четыре года его продали с убытком. И всегда, во всяком из маминых предприятий, было какое-то мученичество и жертвенный подвиг: работа до крайнего изнеможения, еда кое-как, недоспанные ночи, душевные муки, что все идет в убыток, старание покрыть его сокращением собственных потребностей.

Теперь, восстанавливая все в памяти, я думаю, что эта потребность превращать работу в какое-то радостно-жертвенное муче-

ничество лежала глубоко в маминой натуре,—там же, откуда родилось ее желание поступить в монастырь. Когда кончались трудные периоды ведения детского сада или хозяйничания в имении, перед мамой все-таки постоянно вставала,—на вид как будто сама собой, совсем против воли мамы,—какая-нибудь работа, бравшая все ее силы. Папа как-то сказал:

— Вот какая масса у нас журналов, как много в них интересных статей и рассказов. Как бы хорошо сделать им систематическую роспись, чтоб,—только что понадобилось, сейчас и найдешь.

И мама многие недели работала над систематическою росписью все свое свободное время. Ночь, тишина, все спят, а у книжных шкафов горит одинокая свеча, и мама с кротким, усталым лицом пишет, пишет...

Помню еще, к папиным именинам мама вышивала разноцветною шерстью ковер, чтобы им завешивать зимою балконную дверь в папином кабинете; на черном фоне широкий лилово-желтый бордюр, а в середине—рассыпные разноцветные цветочки. В воспоминании моем и этот ковер остался, как сплошное мученичество, к которому и мы были причастны: сколько могли, мы тоже помогали маме, вышивая по цветочку-другому.

И вместе с тем, была у мамы как будто большая любовь к жизни (у папы ее совсем не было) и способность видеть в будущем все лучшее (тоже не было у папы). И еще одну мелочь ярко помню о маме: ела она удивительно вкусно. Когда мы скоромничали, а она ела постное, нам наше скоромное казалось невкусным,—с таким заражающим аппетитом она ела свои щи с грибами и черную кашу с коричневым, хрустящим луком, поджаренным на постном масле.

Отношения между папой и мамой были редко-хорошие. Мы никогда не видели, чтоб они ссорились, разве только спорили иногда повышенными голосами. Думаю,—не могло все-таки совсем быть без ссор; но проходили они за нашими глазами. Центром дома был папа. Он являлся для всех высшим авторитетом, для нас—высшим судьею и карателем.

Тихая Верхне-Дворянская улица, одноэтажные особнячки, и вокруг них—сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаке пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются каждая у своих ворот и мычат протяжно. Внизу в котловине—город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен. Там дома друг на друге, пыль, вонь сточных канав, болотные испарения и вечная малярия. У нас наверху—почти полевой воздух, море садов, и весною в них—сирень, гулкие раскаты соловьиных трелей и щелканий.

У папы на Верхне-Дворянской улице был свой дом, в нем я и родился. Вначале это был небольшой дом в четыре комнаты, с огромным садом. Но по мере того, как росла семья, сзади к дому делались все новые и новые пристройки, под конец в доме было уже тринадцать-четырнадцать комнат. Отец был врач, притом много интересовался санитарией; но комнаты,—особенно в его пристройках,—были почему-то с низкими потолками и маленькими окнами.

Сад вначале был, как и все соседние, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Всё росли и ширились крепкие клены и ясени, все больше ввысь взносились березы большой аллеи, все гуще делались заросли сирени и желтой акации вдоль заборов. Каждый кустик в саду, каждое деревцо были нам близко знакомы; знали мы, что в мрачном углу под стеною соседней конюшни Бейера растет кустик канупера, что на кривой дорожке—нѐклен, а на круглой куртине—конский каштан. Да не только кусты и деревья, и не только в саду. Все закоулки в саду, на дворе и на заднем дворе были близко знакомы, обгляжены до всякой щели в заборе, до всякой трещины в бревне. И были превосходнейшие места для всяких игр; под папиным балконом, напр.: темное, низкое помещение, где нужно было ходить нагнувшись, где сложены были садовые лопаты, грабли, носилки, цветочные горшки, и где в щели меж досок ярко светило с улицы солнце, прорезывая темноту пыльно-золотыми пластинками. Много в этом подземелье

было совершено злодейств, много укрывалось разбойничьих шаек, много мучений пережито пленниками...

Это все—для общего понимания последующего. А теперь прекращаю связный рассказ. Буду в хронологическом порядке передавать эпизоды так, как они выплывают в памяти, и не хочу разжижать их водою для того, чтобы дать связное повествование. Мне нравится, что говорит Сен-Симон: «То здание наилучшее, на которое затрачено всего менее цемента. Та машина наиболее совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собою.»

Кажется, самое раннее из моих воспоминаний,—вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком,—несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с полблюдечка,—густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверное, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!

Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.

Сижу у себя в кроватке и реву. Она подходит и унимает меня.

— Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!

— А-на-ка-на!.. Я твой барин!

— Ты мой барин, ты мой барин!

— Я твой барин,—повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.

— Мой барин, мой барин... Спи!

Когда со старшим моим братишкой Мишей мы садились завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:

— Mischenka, Mischenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen!

В детстве у нас постоянно жили бонны-немки, мы всегда слышали:

— Kinder, deutsch sprechen!

И говорили по-немецки лучше, чем по-русски. Маленькая сестренка Соня, когда ее спрашивали, хочет ли она молока, отвечала:

— Соня хочет нет.

Точный перевод с немецкого: Соня will nicht.

А когда покойный брат Володя умирал от крупа, он на все мамины вопросы по-русски отвечал по-немецки. С посинелым лицом и втягивающимися надключичными впадинами, он говорил сиплым, придушенным голосом:

— Mama erlaubt nicht russisch sprechen.

Это маму очень тяжело поразило, и потом нам уже не так строго запрещали говорить по-русски.

В доме у нас большим почетом и уважением пользовался дедушка Викентий Михайлович,—он иногда приезжал к нам в Тулу из своего имения, села Теплого. Был он вдовец, штабс-капитан в отставке, с очень длинною и совершенно седою бородою, худощавый. Он был не родной нам дедушка, а папин дядя, брат его отца. У него папа воспитывался в детстве. По отдельным, случайно вырывавшимся у отца признаниям я заключаю, что жилось ему там очень несладко: жена дедушки, Елизавета Богдановна, была с самым бешеным характером; двух родных своих сыновей, сверстников отца, баловала, моего же отца жестоко притесняла,—привязывала, в виде наказания, к ножке стола и т. п. А дедушка, сколько мог, заступался за отца, ласкал его и шептал на ухо:

— Ты не обращай внимания на эту ведьму!

Папа относился к дедушке с глубокою почтительностью и нежною благодарностью. Когда дедушка приезжал к нам,—вдруг он, а не папа, становился главным лицом и хозяином всего нашего дома. Маленький я был тогда, но и я чувствовал, что в дом наш вместе

с дедушкою входил странный, старый, умирающий мир, от которого мы уже ушли далеко вперед.

Папа,—взрослый человек, доктор, отец большой семьи,—перед тем, как ехать на практику, приходил к дедушке и почтительно говорил:

— Дядя, мне нужно ехать к больным. Вы позволите?

И дедушка разрешал:

— Поезжай, мой друг!

Вообще он держался во всем не как гость, а как глава дома, которому везде принадлежит решающее слово. Помню, как однажды он, в присутствии отца моего, жестоко и сердито распекал меня за что-то. Не могу припомнить, за что. Папа молча расхаживал по комнате, прикусив губу и не глядя на меня. И у меня в душе было убеждение, что, по папиному мнению, распекать меня было не за что но что он не считал возможным противоречить дедушке.

Иногда из Теплого приезжала толстая и румяная экономка, Афросинья Филипповна. У нее была дочь со странным именем Католя. По почтительному отношению папы и мамы к Афросинье Филипповне мы чувствовали, что она—не просто служащая у дедушки. Но когда мы добивались узнать, кто же она такая, мы не получали ответа. Чувствовалось, что в отношениях к ней дедушки есть что-то неладное и стыдное, но о чем папа с мамой, уважая и любя дедушку, не могли и не хотели рассуждать. И потом, когда дедушка умер, Теплое было продано наследниками, и Афросинья Филипповна нереселилась с дочерью в Тулу, отношение к ней осталось попрежнему родственным и теплым.

В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:

— Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек.

Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная. Я согласился.

Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а случалось вспомнить,— такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь.

Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:

— Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь,— можешь, если хочешь, продолжать.

Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:

— Чего ты, Витя?

— Ты же сама сказала, что после обеда можно.

Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях, и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:

— Ну, Витя, теперь можно,—реви!

Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали.

Были мы на елке у Свербеевых, папиных пациентов. Помню, была у них очень хорошенькая дочь Эва, с длинными, золотыми волосами по пояс. Елка была чудесная, мы получили подарки, много конфет. Мне досталась блестящая медная складная труба, лежавшая среди стружек в белой коробке.

Когда мы одевались в передней, г-жа Свербеева спросила меня:

— Ну, что, Витя, весело тебе было?

Я подумал и ответил:

— Нет.

Еще подумал и прибавил:

— Очень было скучно.

Собственно говоря, очень было весело. Но я вдруг вспомнил один момент, когда все пили чай, а я уже напился, вышел в залу и минут пять в одиночестве сидел перед елкою. Вот в эти пять минут, правда, было скучно.

Наша немка, Минна Ивановна, была в ужасе, всю дорогу возмущалась мною, а дома сказала папе. Папа очень рассердился и сказал, что это свинство, что меня больше не нужно ни к кому отпускать на елку. А мама сказала:

— Собственно говоря, за что же бранить ребенка? Спросили его,—он сказал правду, что, действительно, чувствовал.

Помню в детстве отшатывающийся, всю душу насквозь прохватывающий страх перед темнотой. Трусость ли это у детей,—этот настороженный, стихийный страх перед темнотой? Тысячи веков дрожат в глубине этого страха,—тысячи веков дневного животного: оно ничего в темноте не видит, а кругом хищники зряче следят мерцающими глазами за каждым его движением. Разве не ужас? Дивиться можно только тому, что мы так скоро научаемся преодолевать этот ужас.

К исповеди нельзя итти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть. Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас и прислуги. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму:

— Обязательно нужно, чтобы все простили?

— Обязательно.

У меня начинали шевелиться шантажные вожделения.

— А что будет,—вдруг я возьму и не прощу тебя?

Мама серьезно отвечала:

— Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение.

Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раздумывал: нельзя ли бы на этом заработать пару карамелек? Мама



придет ко мне просить прощения, а я: «дай две карамельки,—тогда прощу!»

Мы причащались. Подошла к причастию молодая дама в белом платье с большим квадратным вырезом на груди. Сестра Юля с удивлением мне прошептала:

— Витя, посмотри-ка. Зачем у нее впереди голое? Наверно, не хватило материи.

Я презрительно ответил:

— Вот глупая! Вовсе не потому. А просто, чтобы легче было чесаться, когда блохи кусают. Ничего не расстегивать. Засунул руку и чешись.

— А-а...

Всегда у нас в комнатах жили собаки,—то огромный ньюфаундленд, то моська, то левретка. И блохи были нашей всегдашнею казнью.

Сестра Юля была на полтора года моложе меня. Она догоняла меня ростом, и догнала. Дедушка даже уверял, что перегнала, но я с азартом доказывал, что это неправда, что это только так кажется: у Юли на волосах гребешок, гребешок топорщит волосы, а я стриженый. Но дедушка стоял на своем.

Я родился в январе, Юля—в июле. Мне было семь лет, Юле пять. Настал июль. Юле стало шесть лет. Дедушка спросил:

— А тебе, Витя, все еще только семь?

Я опешил.

— Да.

— Смотри-ка, Юля и годами тебя начинает догонять. Скоро перегонит, станет старше.

Факт был налицо. Я долго потихоньку плакал от обиды.

Один единственный случай, когда меня выпороли. Папа одно время очень увлекался садоводством. В большом цветнике в перед-

ней части нашего сада росли самые редкие цветы. Было какое-то растение, за которым папа особенно любовно ухаживал. К великой его радости и гордости, после многих трудов, растение дало, наконец, цветы.

Однажды вечером папе и маме нужно было куда-то уехать. Папа позвал меня, подвел к цветку, показал его и сказал:

— Видишь, вот цветок? Не смей не только трогать его, а близко и не подходи. Если он сломается, мне будет очень неприятно. Понял?

— Понял.

Поздно вечером они воротились, и папа сейчас же пошел с фонарем в сад взглянуть на цветок. Цветка не было! Ничего от него не осталось,—только ямка и кучка земли.

На утро мне допрос.

— Где цветок?

— Я его пересадил.

— Как пересадил?!

— Ты же мне вчера сам велел.

И я показал, куда пересадил. Пересадил, конечно, подрезав все корни, и цветок уже завял.

Такое явное и наглое неповиновение мое,—«ведь нарочно приводил тебя к цветку, просил!»—заставило папу преодолеть его отвращение к розге, и он высек меня. Самого наказания, боли от него, я не помню. Но ясно помню, как после наказания сидел на кровати, захлебываясь слезами и ревом, охваченный ощущением огромной, чудовищной несправедливости, совершенной надо мною. Утверждаю решительно и определенно: я понял папу именно так, что он мне поручил пересадить цветок. И я очень был польщен его доверием и совершил пересадку со всею тщательностью, на какую был способен.

Знаете ли вы, что такое об'ятия и поцелуи взрослых барышень? Наверно, хорошенько не знаете. Я знаю, и могу удостоверить: ужаснейшая гадость! Даже вспомнить противно.

Я имел несчастие обладать очень пухлыми и румяными щеками. Барышни ловили меня, сажали на колени и впивались губами в мои

щеки. Я мотал головою, старался вырваться, но они еще крепче сжимали меня. Противные душистые руки в кольцах, чмокающие губы, скрипящие под моими локтями корсеты, а иногда еще хуже,— упрешься локтем в тугое, выпуклое, как надутая резиновая подушка... Бррр! Не дай вам бог никому!

Я вырывался, убегал от них в сад и там залезал высоко на березу. Они теснились внизу, смеялись, зазывали к себе,—но я сидел на самой верхушке и не слезал.

Я уже говорил: мама в течение нескольких лет содержала детский сад,—совершеннейшая тогда новинка, в Туле небывалая. Мама перед тем специально ездила в Москву и прошла там курс фребелевских наук. Предприятие кончилось, как все многочисленные мамины предприятия: она с такою энергиею и добросовестностью отдалась делу, настолько всё старалась завести самое лучшее, что предприятие не только не окупалось, но на него уходил и весь папин заработок. Да и домашнее хозяйство, и воспитание собственных детей от этого страдало. Папа, наконец, запротестовал, и, ко времени моего поступления в гимназию, детский сад был закрыт.

Так вот, для этого сада папа в свободное время смастерил огромное сооружение, аршина в два длины и полтора ширины, по которому учащиеся наглядно могли знакомиться с тем, что такое залив, остров, мыс, ущелье и т. д. В заднем левом углу поднимались высокие горы с белыми главами, среди моха тек с высоты настоящий ручеек, в зеленых долинах паслись оловянные стада, впереди слева вертикальный разрез представлял геологические пласты земли. Передняя правая сторона была занята морем из настоящей воды,—с заливами, проливами, бухтами, с коралловым островом в середине; сквозь стекло спереди можно было видеть дно моря, коралловое основание острова, морские звезды на песчаном дне. Гордостью и красою всего сооружения была огнедышащая гора в заднем углу справа, за морем. Иногда по вечерам папа устраивал настоящие извержения из нее: из кратера взрывами бил огонь, по отрогам с шипением ползли

ярко-красные и зеленые огни, отражаясь в море. Это было большим праздником для детей.

Для других детей, но не для меня. Недавно мне жаловался старик-отец на своих сыновей-футболистов, возвращающихся домой с разбитыми лбами и рваною обувью: «другим удовольствие, а мне один разрыв сердца!» Вот так тогда и мне было: другим удовольствие, а мне один разрыв сердца. Я с беспокойством спрашивал маму:

— Может от этого быть пожар?

Мама не любила испытывать судьбы.

— Наверное никогда ничего нельзя сказать. Все может быть.

Приятно услышать...

Начиналось представление. Дети глядели на огненные взрывы, цветные бенгальские огни и в восторге ахали. Я сидел на стуле сзади всех, беспокойно насторожившийся, давил внутреннюю дрожь и ощупывал оттопырившиеся карманы: в одном было два куска булки,— питаться нам всем первое время после пожара, в другом—куча вырезанных из бумаги и раскрашенных мною солдатиков: если наш дом сгорит, я буду продавать на улице этих солдатиков и таким образом кормить семью. Самый для меня радостный был момент, когда извержение кончалось, и нашему дому переставала грозить опасность.

Родился я преждевременно, на восьмом, кажется, месяце, и родился «в сорочке». Однако, вообще был мальчишка здоровый, да и теперь на физическое здоровье пожаловаться не могу. Но однажды,—мне было тогда лет семь,—когда у нас кончились занятия в детском саду, вдруг я с пронзительным криком, без всякого повода, упал, начал биться в судорогах, потом заснул. И проспал трое суток.

Помню, как я проснулся в темноте, вышел в столовую. Уже отобедали, дети с немкою Минной Ивановной ушли гулять, в столовой сидела одна мама. Горела лампа, в окнах было темно. Я с затуманенной головой удивленно смотрел в окно и не мог понять, как же в этакой черноте может кто-нибудь гулять.

ПЛЮШКИН МАГАЗИН.—Мама требовала, чтобы вечером, перед тем, как ложиться спать, мы не оставляли игрушек, где попало, а убирали бы их. Конечно, мы постоянно забывали. Тогда мама об'явила, что все неприбранные игрушки она вечером будет брать и прятать, как Плюшкин. И рассказала про гоголевского Плюшкина, как он тащил к себе все, что увидит.

Так и стала делать. Неприбранные игрушки исчезали. Иногда бывало, что мы их и не хватимся, и забывали о них, иногда хватишься, да уже поздно. Раза два в год происходила торжественная разборка «Магазина Плюшкина»,—мы его сокращенно называли «Плюшкин магазин». Мама отпирала шкаф, мы нетерпеливо толпились вокруг, она вынимала по одной вещи, выясняла ее владельца, и он получал ее обратно. Много тут было радостей и много неожиданностей,—обретались богатства, о которых давно уже было забыто. Старые, надоевшие игрушки становились, как новые.

Жил у нас в то время нахлебником смешной, толстенький бутуз, Анатолий Коренков. Мама об'явила, что сегодня вечером она будет разбирать Плюшкин магазин. Мы все обрадовались, в восторге сообщали друг другу:

— Сегодня вечером—Плюшкин магазин!

Анатолий Коренков ничего про это учреждение не знал, но, видя нашу радость, и сам очень обрадовался. Выскочил в залу, стал приплясывать и щелкать пальцами:

— Сегодня вечером у нас будет Булкина лавка!

Это я давно заметил, и это было верно. Стоило заметить только раз, а потом никаких не могло быть сомнений: вещи любят дразнить человека и прятаться от него; чем их усерднее ищешь, тем они дальше запрятываются. Нужно бросить их искать. Им тогда надоест прятаться,—вылезут и сядут совершенно на виду, на каком-нибудь самом неожиданном месте, где уж никак их нельзя было не заметить.

Из этого выходило: потерялась вещь,—поищи; не находится,—перестань искать: через день-другой выскочит сама (конечно, если не попала к маме в Плюшкин магазин: ну, тогда жди разборки магазина, раньше не получишь).

Меня называли «Витя», папа выговаривал по-польски, и у него звучало «Виця»; так он всегда и в письмах ко мне писал мое имя. Ласкательно мама называла меня «Тюлька». Раз она так меня позвала, когда у нее сидела с визитом какая-то дама. Когда я ушел, дама сказала маме:

— Какой ваш Тюльпанка хорошенький!

Я потом часто всем это рассказывал и притворялся, что рассказываю потому, что вот как смешно: вместо «Тюлька»—собачье имя Тюльпанка.

Мне хотелось спать, я поужинал с маленькими и лег в девять часов. А было воскресенье, и были гости. И за ужином у больших были блинчики с дынным вареньем. Ели их и Миша, и Юля. Я про это узнал только утром и горько заплакал. И спрашивал Юлю:

— Вкусные были?

Юля виновато отвечала:

— Очень вкусные.

И я плакал еще горше. Потом стал рассуждать так: я вчера вечером блинчиков не ел. Миша и Юля ели. Ну, и что ж? Теперь-то, утром,—не все равно? Иначе бы я себя теперь чувствовал, если бы вчера ел блинчики? Приятнее сейчас Юле? Вовсе нет. Одинаково у всех троих ничего сладкого.

И это меня утешило.

Папа лечил у доктора Ульянинского его сына Митю. Он был с Ульянинским в очень хороших отношениях. Ульянинский даже крестил сестру мою Юлю; при серьезном взгляде родителей на рели-

гию это были не пустяки. Когда сын выздоровел, Ульянинский прислал папе в подарок очень ценный чайный сервиз. Папа отослал его обратно с письмом, что считает совершенно недопустимым брать плату за лечение детей своего товарища, а присланный подарок— та же замаскированная плата.

После этого Ульянинский стал сторониться папы, и отношения их совершенно испортились.

Папа никогда не давал ложных медицинских свидетельств. Однажды,—это было, впрочем, много позже, когда мы со старшим братом Мишею уже были студентами,—перед концом рождественских каникул к брату зашел его товарищ-студент и сказал, что хочет попросить папу дать ему свидетельство о болезни, чтоб еще недельку-другую пожить в Туле. Миша лукаво сказал:

— Что ж, пойди; папа, кстати, сейчас принимает. Попроси его.

Тот вошел к папе, об'яснил, чего ему надо.

— А вы, молодой человек, чем же больны?

— Я, собственно, ничем не болен, но хотелось бы остаться еще на некоторое время в Туле.

— Так, значит, вы хотите, чтоб я, старик, дал вам фальшивое свидетельство, чтобы лгал в нем, будто вы чем-то больны, и в удостоверение своей лжи дал свою подпись...

Так его отчитал, что студент выскочил, красный и потный, к большой нашей потехе.

За залою была у нас большая комната, в ней была устроена гимнастика (для детского сада): лестницы до потолка, трапеции, столб для лазания, качели. Эта комната у нас так и называлась—«гимнастика». Я отличался перед другими в исскусстве кувыркаться на трапеции и выделывать на ней всякие упражнения. Очень любил взбираться по шесту под самый потолок. Скоро я заметил, что, когда лезешь по шесту, прижимаясь к нему нижнею частью туловища, между ног получается очень приятное раздражение. Я стал дольше задерживаться в такой позе, крепче прижиматься к столбу, и в фан-

тазии в это время рисовались сладострастные образы полураздетых красивых женщин. (Тайна отношений между полами была мне в то время совершенно неизвестна,—я думал, дети рождаются от того, что во время свадьбы бог благословляет мужчину и женщину на деторождение). Для меня открылись новые наслаждения, тайные и острые, о которых никто и не подозревал. В сумерки проходит кто-нибудь через «гимнастику» и видит: я вишу на столбе под самым потолком, скорчившись и суча ногами. Со смехом он спрашивает:

— Витя, что ты там делаешь?

Я сердито и раздраженно отвечаю:

— Оставь, пожалуйста. Что ты мешаешь?.. Играю.

Уйдут,—и я продолжаю висеть под потолком, и все теснее прижимаюсь к столбу, и в уме—преимущественно одна картина: толстый, желтый евнух (что, собственно, значит евнух, я себе представляю очень неясно) укладывает спать красавицу царскую жену и жирною рукою ощупывает под рубашкою все ее прекрасное тело; она в негодовании кусает губы, но не смеет противиться, а он смеется и похлопывает ее жирною ладонью. В это время взрослые читали вслух «Дочь египетского царя» Эберса, и у меня впечатление, что именно этот роман дал толчок моим фантазиям об евнухе.

Из этой же области. Молодая няня Катя качается в «гимнастике» на качелях. У нее на коленях—маленькая сестра. Няня взлетает, и юбки ее развеваются. С тайным сладострастным чувством я стараюсь стать так, чтоб лучше было видно. Наконец, я с озабоченным видом ложусь на пол впереди качелей, прижимаюсь щекою к полу и деловито смотрю вдаль,—как будто так играю. А сам пытаюсь заглянуть глубже в развевающиеся юбки. Катя замечает это, сжимает ноги и осторожно придерживает юбки. И сходит с качелей. Мне стыдно, и я попрежнему продолжаю лежать и озабоченно смотреть вдаль, чтоб она подумала, что я это вовсе не для нее.

Никогда не мог понять, что интересного в «Робинзоне Крузо». Козлики какие-то; шьет себе одежды из звериных шкур, надаивает молоко, строит дом... Интересно было только в конце, где Робинзон и Пятница сражаются с дикарями.

В конце сада, около большой аллеи, росла вишня,—вся она густо была покрыта черными ягодами. Мама дала нам с Юлею корзинку и велела обобрать вишню.

— Мамочка, а можно будет некоторые есть?

— Ну, какая уж очень будет проситься в рот,—ту с'ешьте.

Пошли. Через час приносим маме корзинку. На ее дне горсть красных ягод.

— Только-то? Где же все ягоды?

Мы сами недоумевали. И ответили сконфуженно:

— Очень уж просились в рот.

Когда мне было восемь лет, я поступил в приготовительный класс гимназии. Синяя кепка, мышино-серое пальто до пят, за плечами ранец с книгами.

Взрослые забыли и потому не знают, с какими опасностями сопряжено путешествие по мирным улицам города для маловозрастных людей. Чтобы благополучно ходить по улицам, от маленького человека требуется сила, смелость, ловкость, находчивость,—качества, которые когда-то требовались от всех людей; теперь они, к счастью, всё еще требуются, по крайней мере, от людей маловозрастных. Горе на улице и в школе маменькиным сынкам, для которых единственною защитою служит их благонравие и вера в то, что все обязаны вести себя прилично!

Каждое утро, когда я шел в гимназию, на Верхне-Дворянской улице, около извозчичьей биржи, мне встречался мальчишка из уездного училища. Он бросался на меня и начинал лупить. За что?

Не знаю. Никогда я ничем его не задел, ничем не обидел. В первый раз, когда он напал на меня, я больше всего был потрясен не столько даже самим нападением, сколько отношением к нему всех кругом. Я испуганно таращил глаза и втягивал голову в плечи, мальчишка бил меня кулаком по шее, а извозчики,—такие почтительные и славные, когда я ехал на них с папой или мамой,—теперь грубо хохотали, а парень с дровами свистел и кричал:

— Бей! Так его! Покрепче!.. Ха-ха-ха!

Постоянно мы встречались, и постоянно он меня лупил, и с каждым разом распалялся все большею на меня злобою; должно быть, именно моя беззащитность распаляла его. Дома ужасались и не знали, что делать. Когда было можно, отвозили нас в гимназию на лошади, но лошадь постоянно была нужна папе. А между тем дело дошло уже вот до чего. Раз мой враг полез было на меня, но его отпугнул проходивший мимо большой гимназист. Мальчишка отбежал на улицу и крикнул мне:

— Ну, брат, счастье твое! А то бы я тебя угостил!

И вытянул из рукава руку,—в ней был раскрытый перочинный нож.

Мама, как узнала, пришла в ужас: да что же это! Ведь этак и убить могут ребенка или изуродовать на всю жизнь! Мне было приказано ходить в гимназию с двоюродным моим братом Генею, который в то время жил у нас. Он был уже во втором классе гимназии. Если почему-нибудь ему нельзя было итти со мной, то до Киевской улицы (она врагу моему уже была не подороге) меня провожал дворник. Мальчишка издалека следил за мною ненавидящими глазами,—как меня тяготила и удивляла эта ненависть!—но не подходил.

Раз идем мы с Генею. Нам навстречу этот мальчишка, а с ним другой, побольше,—длинноносый и рыжий. Мой враг что-то шепнул своему спутнику. Поравнялись. Вдруг рыжий изо всей силы толкнул Геню плечом.

— Ты что?

— А ты что?

— В морду захотел?

— Попробуй!

Сжимая кулаки, они стояли друг против друга в напряженной позе петухов и слегка подталкивали друг друга плечом. Геня свистнул рыжего в ухо. Начался мордобой. Мой враг бросился на меня. Геня крикнул:

— Бей его, Витя! Чего боишься? В морду!

Я сунул его кулаком в морду, перешел в наступление и стал теснить. Испуг и изумление были на его красивом круглом лице с черными бровями, а я наскакивал, бил его кулаком по лицу, попал в нос. Брызнула кровь. Он прижал ладони к носу и побежал. Пробежал мимо и рыжий, а Геня в догонку накладывал ему в шею...

Позор, позор! Целых полгода враг мой лупил и гонял меня, а я, оказывается, был и сильнее, и ловчее его!..

В приготовительном же классе. Рядом со мною сидел на парте рыжий и крупный немчик Ган, добродушный и покорный, с которым можно было делать что угодно. Я написал на его транспаранте:

Сей транспарант принадлежит
И сам не убежит;
Кто возьмет его без спросу,
Тот останется без носу;
А кто возьмет его с спросом,
Тот будет с пузом.

Транспарант увидел у Гана наш классный наставник, Петр Степанович Глаголев.

— Это ты написал?

Ган ухмыльнулся широко и глупо.

— Нет. Это мне написал Смидович.

— Смидович! Это что такое? В угол!

Я обомлел. Я был первый ученик, поведения примерного, никогда наказаниям не подвергался; Петр Степанович ко мне благоволил, к тому же, кажется, он был папиным пациентом.

— Что ты стоишь? Сейчас же в угол!

Я заревел благим матом.



— Ай, нет, не пойду!

Петр Степанович сердился и смеялся, приказывал, но я заливался слезами и не шел. Так и не пошел.

Меня «оставили» на час в гимназии. За что? До сих пор не могу понять. А транспарант послали с Генею папе. Голодный, одинокий и потрясенный, я просидел час в пыльном классе и ревел все время, не переставая, изошел слезами.

Дома был разговор с папой.

— Скажи, пожалуйста,—что ты, собственно, хотел этим сказать? «Тот будет с пузом». Какая пошлость! Да неужели ты находишь это остроумным?.. И написал-то еще на чужой вещи, не своей!

Назавтра в гимназии, на перемене, Петр Степанович подсел ко мне, обнял за плечи и лукаво спросил потихоньку:

— Что, брат, здорово тебя вчера выпороли?

Меня удивил вопрос, и вдруг я почувствовал, что Петр Степанович живет в каком-то совсем другом, чуждом мире, жестоком и грубом; и его лицо показалось мне вульгарным и непочтенным. Я ответил:

— Папа нас никогда не порет.

Он засмеялся и махнул рукою,—меня, мол, не проведешь. И, наверное, он уж совсем бы мне не поверил, если бы я ему сказал, что предпочел бы порку вчерашнему об'яснению с отцом.

Что из всего чтения произвело на меня самое сильное впечатление в детстве: сказка в стихах «про воробья, который делал в жизни все, что мог». Она была напечатана в детском журнале «Семья и Школа» (мы получали этот журнал). Молодой воробей услышал, как поет соловей, как все им восхищаются, потом увидел красавца-павлина,—тоже всех приводил в восторг. Грустный прилетает воробей домой и жалуется матери: нет у него ни голоса хорошего, ни красоты, ни для кого он не привлекателен. Мать ему отвечает, что внешние дары—не в нашей власти, но что всякий может, если хочет, делать окружающим добро, и тогда все будут его любить. И вот: сидит в чердачной своей комнате швея и грустно задумалась о своей жизни,

и плачет. Молодой воробей сел на подоконник, стал весело чирикать. Швея взглянула, улыбнулась сквозь слезы, утерла глаза и стала слушать, и забыла о своем горе. Так молодой воробей и начал жить, и везде, где только мог, делал всем добро: выкармливал выпавших из гнезда птенцов, носил еду больным птицам, пел песни обездоленным.

Но увы! однажды с'ел он
Ядовитое зерно.

И умер. И вот его хоронят. Все птицы идут за гробом. И сам соловей,—гордый, великолепный соловей,—говорит над его могилою речь: умерший не выделялся красотою, не было у него звонкого голоса, но он был лучше и достойнее всех нас, у него было то, что дороже и красоты, и всяких талантов:

Он был добр, он был полезен,
Делал в жизни все, что мог...

Сколько раз я эту сказку ни перечитывал, и каждый раз, при описании похорон и речи соловья, истекал, захлебывался слезами. И когда больно бывало от чего-нибудь самолюбию, когда чувствовал я себя серым и никому не интересным, у меня вставала мысль: этой возможности, какая была у воробья, никто не сможет отнять и у меня.

Когда буду итти из гимназии, мама сказала—зайти в библиотеку, внести плату за чтение. Я внес, получил сдачу с рубля и соблазнился: зашел в магазин Юдина и купил пятачковую палочку шоколада. Отдаю маме сдачу.

— Пяти копеек нехватает.

Я сказал беспомощным тоном ребенка, которого немудрено обсчитать:

— Я не знаю, мне столько дали.

Мама сомнительно покачала головою, но ничего не сказала.

Мне было стыдно. После обеда я попросил у мамы работы в саду. Кому из нас очень нужны бывали деньги, тот мог получить у мамы

работу в саду или на дворе. Но работа, по нашим силам, была не пустяковая, а оплата не бог-весть какая щедрая, поэтому мы брались за такую работу при очень уж большой нужде в деньгах. Мама поручила мне (за пятачок) очистить от травы и сучков площадку под Большой Липой. Я проработал часа четыре, попотел порядком. Когда пришлось получать плату, я сознался маме, что утром проел пятачок на шоколад, и что пусть она зачтет мою плату за этот пятачок. Я ждал, что мама придет в умиление от моего благородства, горячо расцелует меня и возвратит заработанный пятак. И, должно быть, лицо мое неудержимо сияло скромною гордостью. Но мама только сказала—сдержанно и печально:

— Пожалуйста, больше никогда так не делай.

Директором гимназии нашей был Александр Григорьевич Новоселов. Небольшого роста, с седыми бачками, с крючковатым носом, в золотые очки смотрят злобные глазки. В нас, мальцах, он вызывал панический ужас, и для меня он являлся олицетворением грозного, взыскательного и беспощадного начальства.

Раз за обедом папа рассказывал маме:

— ...директор Новоселов, Александр Григорьевич, входит в кондитерскую Вальтера, споткнулся—и вдруг растянулся на пороге...

У меня разгорелись глаза, я с одушевлением спросил:

— Нарочно?!

Папа в изумлении замолчал, с безнадежностью оглядел меня и тяжко вздохнул.

— Виця! Ну, что ты такое говоришь! Подумай хоть немножко! Директор гимназии—и нарочно растянулся на пороге!

Я сконфузился. Но мне вдруг таким человечным, таким близким показался-было этот злобный старичск, способный ькинуть такую чудесную штуку!

К Троице нужно было убрать сад: граблями сгрести с травы прошлогодние листья и сучья, подмести дорожки, посыпать их песком. Наняли поденщика,—старый старик в лаптях, с длинной бородой, со старчески-светящимся лицом. Мама, когда его нанимала, усумнилась,—сможет ли он хорошо работать. И старик старался изо всех сил. Но на побледневшем лице часто замечалось изнеможение, он не мог его скрыть, и беззубый рот устало полуоткрывался.

Мама расспрашивала старика про его жизнь. Деревня их за восемьдесят верст от Тулы, хозяйство ведет его сын. Старик мечтал, как купит на заработанные деньги гостинчиков для внучки,—башмаки и баранок, и сокрушался, что не поспеет домой к празднику: в субботу кончит работу, а до дому итти два дня,—больше сорока верст в день не пройти. Мне странно было слышать, что можно в качестве гостинчиков приносить такие скучные вещи, как башмаки и баранки, и еще страннее,—что он такую дальную дорогу сделает пешком,—такой старик!

Он шамкал ртом, и глаза его светились мягкою радостью, когда он говорил о внучке.

Мама вечером вдруг сказала:

— Хотите, дети, отпустим старика домой завтра, в четверг, чтоб он поспел домой к воскресенью? Заплатим ему, что он заработал бы до воскресенья, а вы за него уберете сад.

Мы с восторгом согласились,—очень уж радостно было себе представить, как это будет приятно старику. И еще радостнее и умиленнее стало назавтра, когда мама подошла к работавшему старику, отдала ему деньги до субботы и сказала, что он может отправляться домой. Старик сначала не разобрал, голова его задрожала,—он понял, что ему отказывают от работы. Мама ему показала деньги, что заплачено до воскресенья, а что сад за него уберем мы. И помню я, как он упал на колени, и седая борода его тряслась, и как мама, взволнованная, с блестящими глазами, необычно быстро шла по дорожке к дому.

Мы три дня с одушевлением работали и убрали-таки сад к празднику,—старший мой брат Миша, я, двоюрдный брат Геня, и помогала сестра Юля.

С этим воспоминанием связано у меня и другое,—о столкновении во время этой работы с Генею. Не помню, из-за чего мы поссорились. Ярко помню только: стою на дворе с железным заступом в руках около песочной кучи, тачка моя наполнена песком, рядом Генина тачка. Я воплю неистово, исступленно, и в голове моей мелькает:

— Он довел меня до бешенства, я теперь не могу отвечать за себя. И теперь я не виноват, если сделаю что-нибудь ужасное!

Этакий таракан! Был я тогда приготовишкой, а идею о невменяемости усвоил уже недурно!.. И я изо всей силы ударяю Геню железным заступом по ноге. Не могу вспомнить, что было дальше, и чем кончилось.

Майские жуки приносят большой вред растительности. Их личинки обгрызают под землею нежные мочки корней трав и кустов... И так дальше.

Весна. Березы только что развернули узорные, весело-зеленые листочки. Майские жуки с серьезным, деловитым жужжанием носятся вокруг берез, а мы внизу суетимся,—потные, задыхающиеся, с вылезающими на лоб глазами.

Подпрыгнул, махнул кепкой,—уп! И сел на корточки, и прижимаешь кепку к земле, осторожно заглядываешь в нее: там! есть! Ошалело сидит и удивленно перебирает лапками. Берешь,—на дорожку,—подошвой: хрясть! Белое молоко, в нем мелкие черные пластинки. В душе—гадливая дрожь от совершенного убийства. Но уж опять смотришь вверх. Из соседнего сада пулею летит огромный жук,—зумм... И мимо берез к ясеням в середину сада. Мчишься следом,—он пропал за елкой. Смотришь во все стороны,—нету. А он бесшумно вьется около березовой ветки, совсем низко. Готово! В кепке! Возьмешь в руку, рассматриваешь. Он неподвижно сидит, потом приходит в себя: начинает по особенному пыхтеть,—накачивается воздухом. Сейчас полетит. Как серьезен! И как красив! Но нельзя отпустить. И казнишь под подошвой за его вредную для мира деятельность.

Приходили мы к ужину усталые, потные, но удовлетворенные сознанием добросовестно исполненного гражданского долга. Никогда впоследствии ничто не наполняло меня такою гордостью за совершенное мною полезное дело, как эта борьба с майскими жуками.

Мой старший брат Миша играть не любил. Он больше интересовался лошадьми и все свободное время проводил в конюшне с кучером Тарасычем. Играл я обычно с сестрою Юлею, моложе меня на полтора года. Вот как мы с нею играли.

У папы была большая электрическая машина для лечения больных: огромный ясеневый комод, на верхней его крышке, под стеклом, блестящие медные ручки, шишечки, стрелки, циферблаты, молоточки; внутри же комода, на полках,—ряды стеклянных сосудов необыкновенного вида; они были соединены между собою спиральными проволоками, обросли как-будто белым инеем, а внутри темнели синью медного купороса. Мы знали, что эти банки «накачивают электричество».

Содержанием наших с Юлею игр были разнообразные приключения индейского характера (я тогда жадно поглощал романы Майн-Рида, Густава Эмара и Купера), но началом приключений, исходною их точкою, всегда являлось одно и то же. Мы с Юлею,—брат и сестра,—рабы, заключены в мрачном подземелье и работаем на какого-то «доктора». В конце нашего сада была большая площадка, а на ней—«гимнастика»: два высоких столба с поперечною балкою; в середине—вертикальная лестница наверх, по бокам—висячие шесты для лазания, узловатая веревка, трапеция. Мы с Юлею, изможденные непосильным трудом, обливаясь потом, медленно двигаем висящие на крюках шесты и этим «накачиваем электричество» наверх, доктору. От времени до времени, по вызову доктора, я взлезаю к нему по лестнице наверх; он ругает меня, бьет бичом по голым плечам и прогоняет назад в подземелье. Терпеть такую жизнь было свыше сил человеческих. Мы подпиливали зазубренною шпилькою решетку на окне или вырывали ногтями подземный ход длиною сажени в две,

и убегали из подземелья. И тогда начинались разнообразнейшие приключения. Я намечал общий план, а потом уж каждый из нас импровизировал, что хотел.

Однажды, после многих приключений в разных концах сада, мы с сестрой Арабеллой попали в плен к индейцам (я был Артур, Юля—Арабелла). Индейцы связали нас, созвали военный совет и решили завтра утром нас казнить, а сами устроили пир и с радости перепились. Дело происходило в Большой беседке, в конце сада: это был настоящий досчатый домик, выкрашенный в зеленую краску, с железною крышею, с тремя окнами и дверью. Когда индейцы заснули, я решил освободиться. Перегрызть зубами веревку, прикреплявшую меня к кольцу, подкатиться к костру и на его углях пережечь ремни, стягивавшие мне локти, было для меня делом одной минуты. Я вскочил на ноги и освободил сестру. Выбрал себе пару самых лучших карабинов, засунул за пояс нож и, сдвинув тонкие брови, взял в руки томагаук. Сестра побледнела, как полотно.

— Брат! Что хочешь ты делать?—спросила она трепещущим голосом.

— Убить их всех!—твердо отвечал я.

— Брат, не убивай!—кротко молила Арабелла.—Помни, мы—христиане! Иисус Христос сказал: «любите врагов ваших!»

Я сардонически улыбнулся.

— Сестра! Ты не понимаешь, чего ты просишь: они проснутся и догонят нас.

— Они пьяны, спят крепко, и когда проснутся, мы будем уже далеко.

Я, Витя, в душе весело засмеялся: мне представилась великолепнейшая комбинация, которую я разовью из создавшегося положения. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я, Артур, зловещим голосом проговорил:

— Сестра, будь по-твоему. Но, если что случится, да падет моя кровь на твою голову!

Мы осторожно вылезли в окошко и с быстротой змеи, устремляющейся на добычу, пустились бежать в девственный лес.

Бежали всю ночь и весь день. К вечеру сделали привал на ступеньках папиного балкона. Стали жарить на костре убитую мною серну. Вдруг я настороржился, как антилопа, почуявшая запах льва.

— Сестра! Ты слышишь конский топот?

— Нет.

Я припал ухом к земле, потом поднялся, приложил палец к губам и, как ящерица, бесшумно скользнул в кусты. Раздвинул ветки жасмина—и остановился, как вкопанный. Взгляд мой окаменел от ужаса: по равнине, в догонку за нами, мчалось тридцать тысяч краснокожих всадников.

Я подбежал к сестре и, задыхаясь, крикнул:

— Скорей! Погоня! Бежим!

Мы бегом обогнули выступ дома, черную бочку с дождевой водой, вдоль стены конюшни побежали к большой липе. Вдруг враги заметили нас и устремились в догонку.

Залегши в непроходимых бамбуковых зарослях, около грядки с луком, я на выбор бил из своих штуцеров по краснокожим, а сестра заряжала и подавала мне. Тысячи три трупов уже устилали равнину. Враги направляли в нас тучи стрел и, испуская кровожадные телодвижения, делали вид, что собираются броситься на нас. Но этим они прикрывали адский замысел, которого я,—увы!—не разгадал. Пятьсот отборных воинов с гибкостью пантеры пробрались к нам в тыл, к скамейке под большой липой, и с диким воем бросились на нас сзади. И со всех сторон устремились враги. Я бился прикладом, индейцы грудами валились с размозженными головами. Но наконец, побежденный численностью, весь израненный, я упал. Как стая коршунов, дикари устремились на меня, связали и отвели с сестрою в ту же беседку, из которой мы сутки назад убежали.

И вот—начали меня истязать. Все изощреннейшие пытки, какие только описаны у Майн-Рида и Густава Эмара, были применены ко мне: мне вырезывали из кожи ремни, жгли подошвы углями, выковыривали гвоздями глаза. Я глухо стонал и говорил:

— Так вот, сестра, что такое твой христианский бог! Он приказывает щадить врагов для того, чтоб они потом могли предавать таким адским мучениям твоих братьев?.. Спасибо тебе, сестра!.. Оо-о!..

Если бы я тебя тогда не послушался, мы были бы теперь свободны, были бы на родине... Ооооооо!...

И сестра,—уже не фантастическая сестра Арабелла, а настоящая сестра Юля,—заливалась самыми настоящими слезами, и это мне еще больше поддавало жару.

Индейцы взрезали мне живот и стали наматывать мои кишки на колесо, усеянное остриями. При такой пытке человек испытывает ужаснейшие страдания, а между тем непрерывно хохочет душу раздирающим хохотом, потому что в человеке есть такая смеятельная кишка, и, если за нее тянуть, то человек смеется хочет-не-хочет.

И я, корчась, хохотал ужасным смехом, а в промежутках между смехом стонал и говорил:

— Теперь, сестра, я хорошо запомню, что такое твой христианский бог... Хха-хха-хха!.. Проклятие тебе! Да падет моя кровь на твою голову! Хха-хха-хха-хха-хха-хха-хха!!.

И я хохотал леденящим кровь смехом, а Юля истекала самыми подлинными слезами.

Некоторые свои знания я приобретал совершенно неизвестно откуда,—вернее всего, черпал их из собственного воображения. Однако они почему-то очень прочно сидели в памяти, и я глубоко был убежден в их правильности. Так было, напр., со смеятельною кишкою. Помню еще такой случай.

У сестренки Мани было расстройство желудка, после обеда ей не дали яблока. Она очень была недовольна. Надулась и ворчала:

— Ну, ведь все равно, уж есть понос. Какая же разница? Ну, с'ем яблоко,—понос был и останется, больше ничего.

Я важно стал ей об'яснять:

— Как ты не понимаешь? Ты думаешь, он так на одном месте и остановится? Он будет итти все дальше и дальше,—в руки, в ноги, в голову. Порежешь руку, и из нее потечет понос; начнешь сморкаться,—в носовом платке понос.

Маня широко раскрыла глаза и замолчала. Это ее вполне убедило. Папа еще сидел за столом и дочитывал «Русские Ведомости». Он вслушался в мои об'яснения и изумленно опустил газету.

— Виця! Что ты за вздор такой городишь?

— Как? Нет, правда!

— Правда?

Папа в безнадежном отчаянии махнул рукою, молча встал и вышел.

Часто мы делали друг с другом так. Одной рукой за горло, другая заносит над грудью невидимый кинжал.

— Проси прощады!

— Прошу прощады!

— Нет!

И кинжал вонзался в грудь.

Вообще, вспоминая детство, удивляюсь: сколько у нас в играх было жестокости, крови, истязаний,—и как мало все эти игральные свирепства грязнили душу, как совершенно не претворялись в жизнь.

Сербское восстание и русско-турецкую войну я помню ясно,— я тогда был в первом и втором классах гимназии. Телеграммы: «Русские войска переправились через Дунай»,—«перешли Балканы»,— «Плевна взята». Ур-ра-а-а!.. Восторг, кепки летят вверх. Молебен, и распускают по домам.

Какие мы молодцы! Весь мир на нас удивляется. Русские, как львы, идут вперед, ничего не может их остановить,—ни реки, ни горы, ни снега! И все иностранные страны со страхом и завистью смотрят. «Кто разрешит восточный вопрос?» На бумажке четыре портрета,—английской королевы Виктории, германского императора Вильгельма I, австрийского—Франца-Иосифа и турецкого султана Абдул-Гамида. Сложить бумажку по пунктирам,—и из лба Виктории, подбородка Абдул-Гамида, бакенбард Франца-Иосифа и затылка

Вильгельма вдруг получается—портрет нашего царя Александра Второго... Замечательно! Сам, значит, бог заранее решил!

Многи лета, многи лета,
Православный русский царь!
Дружно, громко песня эта
Пелась прадедами встарь.
Дружно, громко песню эту
И теперь вся Русь твердит,
С ней по целому по свету
Слава царская гремит!..

Немцы и австрийцы очень нам завидуют, всячески стараются мешать нам и помогать туркам. Только мы их не боимся.

Шли как-то немец с турком,
Зашли они в кабак.
Один тут сел на лавку,
Другой курил табак.
А немец по-немецки,
А турок по-турецки.
А немец-то: «а-ля-ля!»
А турок-то: «а-ла-ла!»
Но русский, всех сильнее,
Дал турку тумака,
А немец похитрее,—
Удрал из кабака.

Вот мы какие молодцы! Так мы войну и кончим,—придется немцу с конфузом удирать. Только вот горе,—я просто в отчаяние приходил: всех турок неребьют! Когда выросту большой,—мне ничего не останется!

А какие турки мерзавцы. Картинки были в«Ниве», и еще страшнее—в масленицу на балаганах в панораме: смотришь в круглое стекло,—баши-бузуки и черкесы скачут по горящей деревне, трупы с красною кровью, голые белотелые девушки идут стадом, и турок хлещет их нагайкой; или русские раненые солдаты, а турки выкалывают им глаза, выдирают ремни из кожи спины, белая кожа со страшными красными полосами, и всё совсем, как живое, и в натуральную величину, в четком красноватом свете. Тяжело переводишь

дыхание и в темноте, пахнущей керосином, продвигаешься от одного круглого стекла к другому. А вот битва при Ардагане. Ага! Тут турки удирают, испуганно оглядываясь, а за ними бешено бегут русские со штыками наперевес. Казаки карьером несутся за черкесами, вот черкес обернулся на-скаку, хочет выстрелить в русского офицера, но сбоку казак уже всаживает в него пику.

В Туле у нас появились пленные турки. Горбоносые, черноглазые, в синих куртках и красных фесках. Вот! Сколько глаз каждый выколол нашим пленным! Самим бы им... А потом понемножку становилось все страннее. Раз мама взяла поденными трех пленных турок. Что такое? Хорошие, ласково смотрящие глаза, застенчивые улыбки, рабочие, трудовые руки, тихое и славное в лицах... Мама не в счет платы покормила их обедом. Они благодарно кивали головами и улыбались. Потом я часто видел пленных на улицах,—озябшие лица, кутаются в лохмотья, а заговоришь,—те же ласковые, добрые улыбки. Все рассказывали и удивлялись: какой честный народ,—куда честнее наших русачков. И работают как добросовестно!

Так у меня турки и остались в памяти: тамошние, на войне, о которых я только читал,—свирепые злодеи с оскаленными зубами и волчьими глазами,—и наши, тульские, которых я видел собственными глазами,—с хорошими мужицкими лицами, ласковые к людям, работящие.

ГЕРОЙ.—Это был настоящий, самый несомненный герой. Был на турецкой войне, брал Плевну. Он к нам поступил дворником. Григорий. Строгое, надменное лицо, презрительные глаза. Говорил с нами, мальцами, как-будто большую нам честь делал. Любимое его присловье было:

— Дам четыре раза по шее,—жизнью пожертвую!

Когда его спрашивали:

— Верно?—

Он с шиком отвечал:

— Нет, не верно, а вероятно, справедливо, окончательно и даже натурально!

Я жадно расспрашивал его про войну. Как вы ходили в штыковые атаки? Скакал перед вами Скобелев на белом коне? У меня был листок с отпечатанным портретом Скобелева, и под ним длинные стихи,—начинались так:

Кто скачет, кто мчится на белом коне
Навстречу свистящих гранат?
Стоит невредимым кто в адском огне
Без брони, без шлема, без лат?
Кто в кителе белом, с крестом на груди,
Мишенью врагам нашим служит?..

И еще я спрашивал: было у вас, что нашего солдата отрезали турки от своих, а он проложил себе назад дорогу прикладом сквозь три батальона турок? Сколько турок ты посадил на штык?

А Григорий, вместо этого, рассказывал такие вещи:

— Пришли мы в место одно, называется Казанлык. Там масло делают розовое,—до чего же духовитое! Цены ему нету. Сто рублей капля одна! Чтобы каплю одну такую добыть, нужно, может, целую десятину роз изничтожить. Вот пришел нам приказ уходить... Что с этим маслом делать? Брали помазком, да сапоги себе мазали.

Я ахнул.

— Сапоги?!

— Что же с ним делать? Не им же оставлять!

— Отчего же не оставить? Ведь они невооруженные, наверно, были.

— Нешто можно!

Я не мог понять, почему было нельзя. Настоящий герой, мне казалось, не стал бы этого делать.

Или еще:

— Девки турецкие и бабы ходят, закрымши лицо,—вроде как бы занавеска висит с головы, только глаза в щелку глядят, да нос оттопыривается. Ну, конечно, подойдешь, подымешь занавеску у ней, поглядишь. И, конечно, вообче...

— Что вообще?

— Вообче, значит... Ну, как сказать? Понятное дело. Как говорится,—натурально!



Мне было непонятно, но чуялась под этим какая-то большая гадость. И я задумывался иногда: да правда ли он герой?

Однако вскоре я убедился,—правда. Случился пожар на Верхне-Дворянской, наискосок от нас, в мелочной лавке Окорокова. Лавка стояла отдельным домиком. Когда я прибежал, она вся пылала. Толпился народ. Толстый лавочник кубарем вертелся вокруг пылающей лавки и только повторял рыдающим голосом, хватаясь за голову:

— Укладочку, укладочку мне вытащить, ах, ты, боже мой! В задней горнице стоит под кроватью!.. Господи, г-господи! Пустите же меня!..

Бабы выли и держали его за полы, чтоб он не бросился в огонь. Быстро вышел вперед наш Григорий. Глаза горели особенным каким-то лихим блеском.

— Где, говоришь, укладочка?

Через разметанный забор подошли к задней двери лавчонки,— она была заперта изнутри. В окно лавочник стал показывать и об'яснять, где стоит укладка. Густой сизый дым в комнате окрашивался из горящей лавки дрожащими огненными отсветами.

Вдруг Григорий вышиб кулаком оконце, закрыл глаза ладонью и, головой вперед, бросился через окно в комнату. Все замерли. В дыму ничего не было видно, только шипело и трещало пламя. Из дыма вылетел наружу оранжевый сундучок, обитый жестью, а вслед за ним показалась задыхающаяся голова Григория с выпученными глазами; он высунулся из окна и кулем вывалился наружу. Сейчас же вскочил, отбежал, и жадно стал дышать чистым воздухом.

Я был в бешеном восхищении от его подвига. Дома, когда он воротился, все окружили его, любовно смотрели, восторгались. А он встряхивал волосами и хвастливо передавал подробности.

Лавочник дал ему десять рублей и вечером повел в трактир. А в десятом часу прибежала к нам наверх горничная Параша и испуганно сообщила, что Григорий пришел пьяный-распьяный, старик-кучер Тарасыч спрятался от него на сеновал, а он бьет кухарку Татьяну. Помню окровавленное, рыдающее лицо Татьяны и свирепо выпученные глаза Григория, его страшные ругательства, двух городовых, крутящих ему назад руки.

Григория рассчитали. Жизнь в настоящем виде прошла передо мною. И в первый раз мне пришла в голову мысль, которая потом часто передо мною вставала. «Герой», храбрец... Такая ли уже это первосортная добродетель? И так ли уж она сама по себе возвышает человека?

Двенадцать часов. Далеко, на оружейном заводе, протяжный, могучий, на весь город гудок, сейчас же вслед за ним звонок у нас по коридорам. Большая перемена. Несемся по узорным ступеням чугунных лестниц вниз, на просторный гимназический двор. Наскоро прожуешь завтрак—и на сшибалку. Это—длинное, отесанное бревно, укрепленное горизонтально на двух столбах, на высоте с аршин над землею. Две партии. Передние в каждой партии стоят посреди бревна, раздвинув ноги, как можно шире. За их спиною густо теснятся один за другим остальные. Нужно сшибить противника с бревна; когда он слетит, стараешься продвинуться ногой вперед, сколько успеешь,—тот, кто стоял за слетевшим, тоже спешит захватить побольше места. Строго запрещается давать подножки и налету хвататься за противника, чтобы его стащить с собою. Побеждает та партия, которая до конца займет вражескую половину бревна.

В борьбе много самых разнообразных приемов, более слабый легко может сшибить более сильного. Можно даже сшибить самым легким прикосновением руки: сильно размахнешься правой рукой,—противник машинально подается телом навстречу удару, но удара ты не наносишь, а левой рукой с противоположной стороны чуть его толкнешь,—и он слетает.

Ужасно интересно. Вот против нас—силач Тимофеев, первый боец сшибалки. Молчаливый, с нависшим на глаза лбом и тупым лицом. Бараньими своими глазами он смотрит прямо вперед, и от каждого его удара на-отмашь слетает противник, и он продвигается все вперед. Я, волнуясь, жду своей очереди,—у меня есть против Тимофеева свой прием. Вот слетел стоявший передо мною, я спешу раскорячиться и занять побольше места. На меня надвигается Тимофеев, размахнулся чугунною своею ладонью, я моментально при-

гибаюсь к самому столбу, удар проносится по воздуху, Тимофеев теряет равновесие и слетает на земь, а я, под «ура» товарищей, продвигаюсь вперед. Дальше идет мелкота, мы снова отвоевываем забранное Тимофеевым пространство. Вот опять надвинулась сзади очередь Тимофеева. Он не разнообразен на приемы. Прямо глядя тупыми своими глазами, он еще сильнее бьет меня на-отмашь,—я откидываюсь назад, и он опять слетает. Один я, ни разу не слетев, завоевываю всю спибалку до самого конца. Потом, дома, с упоением всем рассказываю про свою победу. И странно, и обидно,—никто хорошенько не чувствует, как это важно и великолепно. Ведь против меня сам Тимофеев был, и я его два раза спиб!

Хорошая игра. И полезная. Бывали, конечно, несчастные случаи: мальчик падал на бревно спиной или низом живота, распибался. Но это бывало от подножек или вообще от неправильной игры. За то игра эта вырабатывала большую устойчивость и крепость в ногах, уменье удержаться на них в самых трудных положениях. Не раз впоследствии,—при гололедице или просто, когда оступишься,—удавалось не упасть при таких положениях, где иначе обязательно распиб бы себе затылок или сломал ногу. И каждый раз добром помянешь спибалку и скажешь: это только благодаря ей!

Мы очень ею увлекались. Занята спибалка большими, нас не пускают,—спибаемся просто на земле, воображая себе полосу бревна. Идем из гимназии по улице, увидим, лежит бревно,—сейчас же спибаться, пока не сгонит дворник. Совсем, как теперь с футболом.

В детстве фантазия у меня была самая необузданная. Действительность давала толчок,—и в направлении этого толчка фантазия начинала работать так, что я уже не отличал,—где правда и где выдумка; мучился выдумкою, радовался, негодовал, как-будто это все уже случилось взаправду. Раз шел из гимназии и вдруг представил себе: что, если бы силач нашего класса, Тимофеев, вдруг ущемил бы мне нос меж пальцев и так стал бы водить по классу, на потеху товарищам? И всю дорогу домой я страдал, как-будто это, прав-

да, случилось, и искал, и не находил путей, как бы отомстить обидчику.

Ко всякому действию, ко всякой работе спешила прицепиться фантазия и пыталась превратить их в завлекательную игру. Например, есть ложкою клюквенный кисель. Это была история тяжелой и героической борьбы кучки русских с огромной армией турок. Русские (ложка) врезываются в самую гущу турок, пробиваются до другого конца,—но сейчас же за их спиною враги смыкаются. Русские повернули опять в самую гущу. Долго тянется бой. Всё жиже становится красная гуща врагов, все ленивее смыкается за кучкой героев. Наконец, силы ее истощились. Русские проносятся из конца в конец,—за ними остаются широкие белые полосы, и они уже не смыкаются. И уже русские шарят по всей долине, и захватывают, и беспощадно уничтожают жалкие остатки турок...

— Ура! Победа!

Взрослые удивленно смотрят,—передо мною только пустая тарелка из-под клюквенного киселя.

— Чего это ты, Витя?

— Всех турок победил! С маленькою горстью русских!

И я с торжеством показываю свою ложку.

— А, чтоб тебя бог любил!

Это любимая мамина поговорка. Мама смеется и машет рукою: она привыкла к моим фантазиям.

Или вот. Учить наизусть латинские исключения. Это была интереснейшая игра.

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis,
Fustis, vectis, vermis, mensis,
Postis, follis, cucumis,
Cassis, callis, collis,
Sentis, caulis, pollis.

— Воины! За мной!

Страшная, неприступная крепость. Враги валят нас со стен камни, льют кипяток, расплавленную смолу, мечут копья, осыпают стрелами. Мы, закрывшись щитами, ползем по обрывистым скалам, приставляем к отвесным стенам лестницы...

Panis, piscis, crinis, finis...

Молодцы! Уже взлезли на стену!

Ignis...

А дальше как? Дальше, дальше как?

. . . . cinis,
. . . . canalis,
. . . . annalis...

Валятся, валятся! Сколько перебито! И никто дальше не подходит на помощь. А тех, кто уж наверху, враги теснят, напирают на них, сбрасывают щитами в пропасть. Полный разгром! Жалкие остатки отрядов сбираются ко мне...

— Вар, Вар! Отдай мне назад мои легионы!

Формирую новую армию, стараюсь ее вооружить покрепче: ignis, l a p i s—l a p i s—l a p i s, p u l v i s—p u l v i s, cinis!

— Воины! Вперед! Отомстим за наш позор!

Первые ряды дружно одолевают все препятствия, вот они уже на зубцах стен. Бегут ряд за рядом...

Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis...

Вдруг заколебались подходящие ряды. Сверху призывные крики:

— Скорее! На помощь!

Как? Как там?.. Fascis... Fascis... А дальше? А дальше как? Господи!

Поддержки нет. Бешено бьются на стене герои, окруженные полчищами врагов. Но иссякают силы. И вот мы видим: вниз головами воины летят в пропасть, катятся со стонами по острым выступам, разбитые доспехи покрыты кровью и пылью... О, позор, позор!

Я лихорадочно шагаю по большой аллее, готовлю легионы к новому приступу. Вот особенно эта когорта ненадежна: Fascis, axis—axis—axis... Funis, ensis... Funis, ensis...

И опять в бой. Правы оказались мои опасения. Не выдержала ненадежная когорта: на ней враги разрезали нашу армию пополам и отбросили от крепости.

И опять, и опять обучение войска. И наконец—торжество! Нигде не поколебались, ни одного шага никто не сделал назад. Ура! Ура!—несется по всему саду. Крепость взята.

— Ур-ра-а-а-а-а-а!!!

— Витя, что ты кричишь! Папа спит!

Потише:

—Ура-а-а-а!

Не надо терять времени. Побольше забрать крепостей, пока враги еще не пришли в себя. Подходим к следующей:

Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...

Стройными рядами, блестя шлемами и щитами, устремляются на крепость мои грозные когорты. Нигде никакого замешательства. Крепость взята одним ударом! До вечернего чая мною завоевано десять крепостей,—и выучен трудный, огромный урок, беспощадно заданный учителем латинского языка, грозным Осипом Антоновичем Петрученко.

Завтра утром иду в гимназию. Опять веду своих ветеранов на приступ вражеской крепости. И вдруг,—о, ужас! Опять подвела та же самая когорта! Опять осаждающую нашу армию разрезали пополам и отбросили! Glis, annalis... А дальше как? Пустое место!

Сажусь на уличную тумбу, снимаю ранец, вынимаю толстенького Кюнера: ах, да! Fascis, axis, funis, ensis!

— Fascis, axis, funis, funis...

Завоевывается еще десяток крепостей, и в гимназию прихожу триумфатором, предводителем закаленных в бою, непобедимых легионов.

Товарищи с унылым отвращением сидят над Кюнером и тупо твердят:

Panis, piscis, crinis, finis...

Входит Петрученко.

— Преферансов!

— Тимофеевский!

— Кепанов!

Двойки, единицы так и сыпятся. Петрученко возмущенно крутит головою.

— Ну-ка... Смидович!

И мои испытанные когорты весело, легким шагом, без единой запинки устремляются в бой:

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis...

Петрученко с наслаждением слушает, как самые благозвучные пушкинские стихи, кивает в такт головою и крупно ставит в журнале против моей фамилии—5.

А вот с арифметикой и вообще с математикой было очень скверно. Фантазии там приложить было не к чему, и ужасно было трудно разобраться в разных торговых операциях с пудами хлеба, фунтами селедок и золотниками соли, особенно, когда сюда еще подбавляли несколько килограммов мяса. Иногда сидел до поздней ночи, опять и опять приходил к папе с неправильными решениями и уходил от него, размазывая по щекам слезы и лиловые чернила.

Эта была работа трудная и долгая: клался в рот кусок черной резины, и эту резину нужно было жевать—целый месяц! Все время жевали, только во время еды и на ночь вынимали изо рта. Через

месяц из жесткого куска резины получалась тягучая черная масса. Называлось: с'емка. Ею очень удобно было стирать карандаш на уроках рисования и черчения. Но не для этого, конечно, брали мы на себя столь великий труд: стирать можно было и простой резинкой. Главное удовольствие было вот какое: из черного шарика можно было сделать блин величиною с пятак, загнуть и слепить края, так что получался как бы пирожок, наполненный воздухом. Тогда пирожок сжимался между пальцев, он лопался, и получалось:

— Пук!

Для этого удовольствия мы и трудились целый месяц. И у кого не было с'емки, кто был ленив на работу, тот униженно просил дать ему на минуту с'емочку, делал два-три раза «пук!» и с завистью возвращал владельцу. Если бы такую вещь можно было за две копейки купить в магазине,—думаю, никто бы ею не интересовался.

Иногда бывало: Геня, Миша, я и Юля сойдемся с таинственными лицами в укромном углу сада в такое время, когда никого из больших в саду нет.

— Никого не видно?

— Никого.

Геня говорил:

— Идем!

Он был старший среди нас. Мы шли, воровато оглядываясь. Шли на общий, коллективный грех, заранее ясно говоря себе, что идем на грех.

В саду у нас много было яблонь,—и грушовки, и коричневые, и боровинки, и антоновки. Каждую мы, конечно, хорошо обглядели, знали наперечет чуть не каждое яблочко, и часто с вожделением заглядывались на них. Но Яблочный Спас был еще впереди; значит, во всех отношениях есть яблоки было вредно: для души,—потому что они были еще не освященные, для желудка,—потому что они были еще зеленые. Но теперь мы сознательно шли на грех. Сбивали длинными палками самые аппетитные и румяные яблоки, и ели.

Под алой кожицей мясо было белое, терпко-кислое, деревянистое. Но сладко было есть, потому что—нельзя, а теперь вдруг стало можно! И мы переходили от дерева к дереву, и действиями своими радовали дьявола.

Наедались. Потом, с оскоминой на зубах, с бурчащими животами, шли к маме каяться. Геня протестовал, возмущался, говорил, что не надо, никто не узнает. Никто? А бог?.. Мы только потому и шли на грех, что знали,—его можно будет загладить раскаянием. «Раскаяние—половина исправления.» Это всегда говорили и папа, и мама. И мы виновато каялись, и мама грустно говорила, что это очень нехорошо, а мы сокрушенно вздыхали, морщились и глотали касторку. Геня же, чтоб оправдать хоть себя, сконфуженно говорил:

— А я яблок не ел: надкушу, а когда вижу, никто не смотрит,—выплюну, а яблоко заброшу в кусты.

Но от касторки это его не спасало.

Нам говорили, что все люди равны, что сословные различия глупы,—смешно гордиться тем, что наши предки Рим спасли. Однако мы знали, что наш род—старинный дворянский род, записанный в шестую часть родословной книги. А шестая часть—эта самая важная и почетная; быть в ней записанным—даже почетнее, чем быть графом.

— Ну! Графом все-таки быть приятнее. Граф Смидович! А так никто даже не знает.

— Приятнее,—да. А почетности такой уж нет.

И герб свой мы знали: крестик с расширенными концами, а под ним охотничий рог. Сначала был просто крестик, но один наш предок спас на охоте жизнь какому-то польскому королю, и за это получил в свой герб охотничий рог. Старший брат папин, дядя-Карл, говорил нам:

— Наши предки не были королями, но они были поважнее: они сами выбирали королей.

В младших классах гимназии я был очень маленького роста, да и просто очень молод был для своего класса: во втором классе был десяти лет.

Вот раз иду из гимназии. Ранец за плечами тяжело нагружен книгами, шинель до пят, сам с ноготок. На Барановой улице навстречу мне высокий господин с седыми, прокопченными усами, в медвежьей шубе. Он изумленно оглядел меня.

— Такой маленький—и уж в гимназии! Вот потеха! В каком вы классе, молодой человек?

— Во втором.—Я скромно потупился и прибавил:—и первый ученик.

Господин уж совсем изумился.

— Да что вы говорите?! Не может быть!.. Как ваша фамилия?

— Смидович.

— Не сынок ли доктора Викентия Игнатьевича?

— Да.

— Да что вы? Очень, очень приятно видеть таких детей...— Своею теплою, большою рукою он пожал мне руку.—Передайте мой поклон Викентию Игнатьевичу!

Я шел дальше. Очень было гордо на душе и приятно. И неожиданно в голову вскочила мысль:

— Вдруг бы он сказал: «очень, очень приятно видеть таких детей! Вот вам за это — рубль!» Или нет, не рубль, а — «десять рублей»!

Десять рублей. Я стал соображать, что бы я купил на эти деньги. Коробочка оловянных солдатиков стоит сорок копеек. Куплю на шесть рублей,—значит... пятнадцать коробочек! Русская пехота, русская кавалерия, немецкие гусары в красных мундирах и голубых ментиках, потом—турки в синих мундирах стреляют, а сербы в светло-серых куртках бегут в штыки. Таких сразу пять коробок, чтобы много было турок. Три коробки артиллерии. Артиллерия шестьдесят копеек коробка. Всего семь восемьдесят. Остается два двадцать. На это—шоколаду. Палочка шоколаду—пятачок. Всего— сколько? Со... *Сорок четыре палочки*! Сорок четыре. Из шоколаду— ложементы; нет,—столько шоколаду,—можно целую крепость. Из-за

брустверов стреляют турки, торчат дула пушек. На турок в штыки бегут сербы, за ними русская пехота и всякая кавалерия.

Потом стал думать о другом. Подошел к дому, вошел в железную, выкрашенную в белое будку нашего крыльца, позвонил. Почему это такая радость в душе? Что такое случилось? Как будто именины... И разочарованно вспомнил: никаких денег нет, старик мне ничего не дал, не будет ни оловянных армий, ни шоколадных окопов...

Было мне тогда десять лет, был я во втором классе гимназии, и тогда вот я в первый раз—полюбил. Но об этом нужно рассказать поподробнее.

ПЕРВАЯ МОЯ ЛЮБОВЬ.

Перед этим целый год у нас в Туле жил нахлебником Володя Плещеев, сын богатой крапивенской помещицы, папиной пациентки. Он учился в первом классе реального училища, я—в первом классе гимназии.

Володя этот был рыхловатый мальчик необычно большого роста, с неровными пятнами румянца на белом лице. Мы все,—брат Миша, Володя и я,—помещались в одной комнате. Нас с Мишею удивляло и смешило, что мыло у Володи было душистое, особенные были ножнички для ногтей; волосы он помадил, долго всегда хорошился перед зеркалом.

В первый же день знакомства он важно об'яснил нам, что Плещеевы—очень старинный дворянский род, что есть такие дворянские фамилии,—Арсеньевы, Бибиковы, Воейковы, Столыпины, Плещеевы,—которые гораздо выше графов и даже некоторых князей. Ну, тут мы его срезали. Мы ему об'яснили, что мы и сами выше графов, что мы записаны в шестую часть родословной книги. На это он ничего не мог сказать.

Вечером, лежа в постели, я затягивал наизусть перечень неправильных степеней сравнения из латинской грамматики:

Bonus, melior, optimus,
Malus, peior, pessimus...

Володя бросался на меня и начинал щекотать:

— А! Ты нас ругаешь жидовскими пейсиками!

Присоединялся Миша, они меня вдвоем щекотали, а я отбивался и сквозь смех вопил:

Malus! Peior! Pessimus!

Меня в этом занимало вот что. У нас считалось, что очень нехорошо и грешно говорить слово «жид». Этим словом ругают евреев, а между тем евреями были все патриархи и пророки, и Иоанн-Креститель, и Матерь Божия; и сам Иисус Христос воплотился в еврейском виде. Значит, и Иисус Христос жид? А Володя нисколько этим не стеснялся, и когда говорил слово «жид», видно было, что ему смешно, и что ничего грешного он тут не видит. И завтра я опять затягивал:

Malus, peior, pessimus,—

чтобы опять услышать беззаботно произносимым грешное, недозволенное слово.

После экзаменов, в начале июня, Володя поехал к себе в деревню Богучарово; мы поехали вместе с ним: его мать, Варвара Владимировна, пригласила нас погостить недельки на две.

Станция Лазарево. Блестящая пролетка с парой на отлете, кучер в синей рубашке и бархатной безрукавке, в круглой шапочке с павлиньими перьями. Мягкое покачивание, блеск солнечного утра, запах конского пота и дегтя, в теплом ветре—аромат желтой сурепицы с темных зеленей овсов. Волнение и ожидание в душе.

Зала с блестящим паркетом. Накрытый чайный стол. Володя исчез. Мы с Мишей робко стояли у окна.

Одна из дверей открылась, вышла приземистая девочка с некрасивым, широким лицом, в розовом платье с белым передничком. Она остановилась посреди залы, сосмущенным любопытством оглядела нас. Мы расшаркались. Она присела и вышла.

За дверью слышалось быстрое перешептывание, подавленный смех. Дверь несколько раз начинала открываться и опять закрывалась. Наконец открылась. Вышла другая девочка, тоже в розовом платье и белом фартучке. Была она немножко выше первой, стройная; красивый овал лица, румяные щечки, густые каштановые во-

лосы до плеч, придерживаемые гребешком. Девочка остановилась, медленно оглядела нас гордыми синими глазами. Мы опять расшаркались. Она усмехнулась, не ответила на поклон и вышла.

Я в восхищении прошептал Мише:

— Вот красавица!

Миша согласился.

Подали самовар. Пришла Володина мать, Варвара Владимировна, пришли все. Володя представил нас сестрам: старшую, широколицую, звали Оля, младшую, красавицу,—Маша. Когда Маша пожимала мне руку, она опять усмехнулась. Я в недоумении подумал:

— Чего она все смеется?

Пришли с охоты старшие мальчики,—восьмиклассник Леля, брат Володи, и семиклассник Митя Ульянинский, племянник хозяйки. Митю я уже знал в Туле. У него была очень узкая голова и узкое лицо, глаза умные, губы насмешливые. Мне при нем всегда бывало неловко.

Мы с Мишей сидели в конце стола, и как раз против нас—Оля и Маша. Я все время в великом восхищении глазел на Машу. Она искоса поглядывала на меня и отворачивалась. Когда же я отвечал Варваре Владимировне на вопросы о здоровье папы и мамы, о переходе моем в следующий класс,—и потом вдруг взглядывал на Машу, я замечал, что она внимательно смотрит на меня. Мы встречались глазами. Она усмехалась и медленно отводила глаза. И я в смущении думал: чего это она все смеется?

После чая я отвел Мишу в сторону и взволнованно сообщил, что мне нужно ему сказать большой секрет: когда я вырасту большой, я обязательно женюсь на Маше.

Миша под секретом рассказал это Володе, Володя без всякого секрета—старшим братьям, а те с хохотом побежали к Варваре Владимировне и девочкам и сообщили им о моих видах на Машу. И вдруг,—о, радость!—оказалось: после чаю Маша сказала сестре Оле, что, когда будет большая, непременно выйдет замуж за меня.

Красный и растерянный, я слушал, как все хохотали. Особенно потешался Митя Ульянинский. Решили сейчас же нас обвенчать. Поставили на террасе маленький столик, как-будто аналой. Меня

притащили насильно. Я отбивался, выворачивался, но меня поставили,—потного, задыхающегося и вз'ерошенного,—рядом с Машей. Маша, спокойно улыбаясь, протянула мне руку. Ее как-будто совсем не оскорбляло, а только забавляло то шутовство, которое над нами проделывали, и в глазах ее мелькнула тихая, ободряющая ласка.

Митя надел, как ризу, пестрое одеяло и повел нас вокруг аналоя, Миша и Володя шли сзади, держа над нами венцы из березовых веток. Остальные пели «Исаие, ликуй!» Дальше никто слов не знал, и все время пели только эти два слова. Потом Митя велел нам поцеловаться. Я растерялся и испуганно взглянул на Машу. Она, спокойно улыбаясь, обняла меня за шею и поцеловала в губы.

Потом хотели устроить свадебный пир, принесли конфет и варенья. Но я убежал и до самого обеда скрывался в густой чаще сада. Было мне горько, позорно. Как-будто грязью обрызгали что-то нежное и светлое, что только-только стало распускаться в душе.

Жизнь шла—во многом очень отличная от той, какая была у нас дома. Комнаты, полы, мебель были блестящее, столовое белье чище, чем у нас. Дети говорили матери «мамаша» и «вы», целовали у нее руку. Мне это казалось унизительным, у нас было лучше: мы целовали родителей в губы, говорили «ты», «папа», «мама». За едою прислуживал лакей в белых нитяных перчатках, он каждому подносил блюдо. Это очень стесняло. Если блюдо на столе,—взял и подложил себе еще. А тут,—почему-то никогда меня лакей не слышал, когда я подзывал его. А раз подозвал вторично,—он неохотно поднес блюдо и сказал сиплым шопотом, скривив губы:

— Берите, барин, поменьше, а то мне ничего не останется.

Я сконфузился и взял две картофелины.

Были разные блюда, каких у нас не подавали, очень все вкусные. Но одно блюдо меня удивило. Его подавали за завтраком: поджаренные ломтики французской булки, что у нас называлось «армерриттер», яйца в мешочек, и к этому—что-то совсем неприличное:

полужидкая, грязно-зеленая масса,—ну, совсем, как-будто коровьи испражнения. И все спокойно ели, и не конфузились, что у кушанья такой неприличный вид.

Жизнь вообще была гораздо более веселая и легкая, чем у нас. Нам дома строго говорили: «сделай сам, зачем ты зовешь горничную?» Здесь говорили: «зачем ты это делаешь сам? Позови горничную». Много заботились о чистоте, об одежде. И в то же время много было такого, что никого не возмущало, а меня ставило втупик.

Мы были приучены уважать старших. А тут старшие делали вот какие вещи. Швея Анна Семеновна, дочь нашего тульского диакона; она шьет и хихикает, около нее увиваются Митя Ульянинский и Леля. Что-то они говорят о «круповских пушках», и Митя с озорною улыбкою спрашивает:

— Хотите, я вам ее сейчас вкачу сюда на стол?

— Ну, вкатите!

И Митя неожиданно садится на стол. Анна Семеновна краснеет. Я сначала недоумеваю, потом соображаю—и хохочу во все горло. Больше всего меня радует, что ни меня, ни этих бесстыдников никто не остановит.

Жил у них в доме отдаленный их родственник, Николай Александрович, слепорожденный,—худощавый молодой человек в черных очках. Он обыкновенно сидел в диванной комнате, там у него было свое особое кресло. Когда думал, что его никто не видит, он все время играл лицом, хитро подмигивал себе, улыбался, кивал головою. Володя нам сообщил, что Николай Александрович всегда воняет в свое кресло. Когда он вставал с него, мальчишки нюхали кресло и, морщась, крутили носами. Я—тоже, хотя не могу наверно сказать, пахло ли вправду кресло. Часто, подкравшись, водили травинкою по шее Николая Александровича или крали у него носовой платок, и он растерянно шарил у себя по всем карманам. И опять-таки у меня было некоторое радостное недоумение, что зачинщиками таких шуток были старшие мальчики, гимназисты старших классов, почти студенты,—что видела это и сама Варвара Владимировна, и только улыбалась. Значит, все это здесь не считается сквер-

ным. Какие-то развязывались путы, какие-то запреты падали, и я с упоением делал то, что дома мне бы и в голову не пришло.

Раз я подкрался к слепцу и стал ему щекотать травинкою лоб; он мотнул головою; я отдернул травинку, потом провел ею по его носу. Вдруг Николай Александрович быстро вытянул руки и схватил меня. Он так сжал мои кисти, что я закричал:

— Ай, больно!

А оп, со своею хитрою улыбкою про себя, все крепче сжимал мои руки, пока я не заплакал отчаянно. Тогда он выпустил меня и, мигая и хитро улыбаясь, слушал мой утихающий плач.

После этого я перестал его дразнить. Испугался его? Нет. Стало стыдно за то, что я проделывал. А не попался бы,—не было бы и стыдно. Пойми, кто может.

К Маше я пылал непрерывным восхищением. Дикая застенчивость мешала мне легко разговаривать с нею. Слова были напряженные и неественные. Но хотелось все смотреть, смотреть на нее, не отрывая глаз. Чтобы не было неловко, я придумал так. За столом сидел я как раз против Маши. И вот я стал передразнивать все ее движения. Она положит руку на стол,—и я, она почешет нос,— и я. Миша, Володя, Оля заметили это, стали посмеиваться, заметила и сама Маша. И весь обед я передразнивал ее, и мог, значит, не отрываясь, смотреть на нее.

Раз, за столом, Маша сказала на ухо сестре:

— Меня очень удивило, что Витя...

Миша расслышал дальше и повторил громко:

— ... что Витя не умеет держать—голову?

— Нет, не голову.

— А что?

Маша поколебалась.

— Вилку и ножик не умеет держать.

Я очень сконфузился. Стал приглядываться,—верно! Все держат вилку и ножик концами пальцев, легко и красиво, и только

мы с Мишею держим их в кулаках, как-будто собираемся резать крепкую подошву.

После обеда, когда я остался с Володею наедине, я попросил его научить меня, как нужно держать ножик и вилку. Он показал, и пренебрежительно прибавил:

— Вы вообще, как мещанские дети, — совсем невоспитанные.

Я разозлился.

— Вот и врешь!

— Нет, не вру. У вас, напр., все едят с ножа. И потом—вы режете ножом и котлеты, и рыбу.

Я опешил.

— А как же их резать?

— Никак. Одной вилкой нужно есть.

— Вот ерунда какая!

Володя поучающе сказал:

— Нет, не ерунда. Аристократически воспитанного человека сразу можно узнать по тому, что он никогда не ест с ножа, и рыбу ест одной вилкой. Просто по тому даже можно узнать, как человек поклонится, как шаркнет ногой. А вы и этого не умете.

— Очень нужно! А зато у меня по всем предметам пятерки, только по арифметике четверка, а у тебя одни тройки. Только по французскому пятерка. Подумаешь! Необязательный предмет!

Но в душе меня это мало утешало. Не просто, не случайно я не умел держать ножик и вилку. Значит, я вообще не умею ничего делать, как они. Это я уже и раньше смутно чувствовал,—что мы тут не свои. Но как же тогда Маша может меня любить? «Невоспитанные»... Нужно будет приглядываться повнимательнее, как люди живут по-аристократически.

За рощею был вал и канава. И на склоне этой канавы, за густым черемуховым кустом, я набрел на целый ковер спелой земляники. Сухая потрескавшаяся земля, мелкие желтеющие листья земляники и яркие, крупные ягоды. В роще звонко перекатывалось «ау!» Вижу из-за куста,—по валу идет Маша. Я позвал ее шопотом:

— Идите скорей сюда! Тут много, много ягод!

Она огляделась и бесшумно подбежала к канаве. Руку я не догадался ей протяпуть и сказал только:

— Прыгайте сюда!

Мы стали есть. Я шептал:

— Правда, как много? Только потише будем, чтоб никто ен увидал.

За валом, в кустах орешника, прошел Володя, крича «ау!» Мы притаились внизу канавы, переглядывались, как сообщники, и молчали. Близко-близко от меня были каштановые кудри и алый овал щеки.

Володя ушел, мы опять стали рвать ягоды. Я покраснел, сердце мое затрепыхало, и я вдруг сказал:

— Маша! Я вам давно хотел сказать, да все позабывал. Вот уж сколько лет я живу,—целых десять лет. И во всю свою жизнь я никогда не видал такой красавицы, как вы.

Маша чуть-чуть покраснела и улыбнулась.

— Витя, я вам скажу всю правду: сразу, как только я вас увидела, вы мне так понравились! Никто никогда мне так не нравился.

Я неестественно засмеялся, зашвырнул самодельную свою палку в черемуховый куст и сказал озабоченно:

— А кажется, все уж пошли домой. Не опоздать бы нам к обеду.

На тропинке мы столкнулись с Олей. Она внимательно поглядела на нас и лукаво улыбнулась.

Вечером, после ужина, мы стояли в зале у открытого окна,— Маша, Оля и я. Над черными липами сиял полный месяц. Что-то вдруг случилось с утра,—стало легко, просто, вдруг все, что мы говорили, стало особенным, значительным и поэтичным. Я прямо и просто смотрел в глаза Маше, голоса наши ласково и дружески разговаривали друг с другом помимо слов, которые произносили.

Маша важно рассказывала:

— Когда Каин убил Авеля, это было ночью. Никто в мире ничего не видал, видал только месяц. И на нем отпечаталось, как Каин убивает Авеля.

Я сказал:

— А я вижу: стоит охотник безголовый и из ружья выстрелил в медведя, медведь перед ним стал на дыбки.

— Где? Где?

— А вот, смотрите. Куда мой палец показывает, это охотник.

— Да ваш палец даже не на месяце.

— А вы ближе. Вот смотрите...

Машина щека близко была от моего лица, ее кудри щекотали мое ухо. Потом Оля смотрела. Мы шутили, смеялись. Я с откровенным восхищением прямо смотрел на Машу, не отрывая глаз от ее милого лица, освещенного месяцем. Оля лукаво улыбнулась и сказала:

— Знаете, что? Давайте друг другу говорить «ты». «Вы»—так нехорошо! Кстати, вы муж и жена. А разве муж говорит жене «вы»?

Я в замешательстве молчал.

— Что ж, я готов. Только, может быть, Маша не хочет?

— Ах, Витя! Почему... *ты* так думаешь? Конечно, и я хочу.

Две недели скоро прошли. Мы с Мишею уехали. Но впереди была большая радость. Оля и Маша осенью поступали в гимназию, это—не мальчики, их Варвара Владимировна не считала возможным отдавать в чужую семью. И Плещеевы всею семьею переезжали на зиму в Тулу.

Дома у нас мне показалось и тесно, и грязно, и невкусно. Коробило, как фамильярно держится прислуга. И в то же время за многое, что,—мне вспоминалось,—я делал в Богучарове, мне теперь было смутно-стыдно.

Сейчас же, как приехал, я сообщил Юле, что я влюблен, и влюблен в замечательную красавицу, какой даже нет у Майн-Рида. И не уставал рассказывать Юле про Машу. Впервые тогда познал я тоску любви. Раньше я целиком жил в том, что вокруг. Теперь чего-то в окружающем не хватало, как-будто из него вынули какую-то очень светлую его часть и унесли далеко. Было сладко и тоскливо.

В августе Плещеевы приехали в Тулу. В воскресенье мы были у них в гостях.

С Машею встреча была неловкая и церемонная. Я почтительно расшаркался, она холодно подала мне руку. Про «ты» забыли и говорили друг другу «вы». За лето волосы у Маши отросли, она стала их заплетать в толстую и короткую косу. Вид был непривычный, и мне больше нравилось, как было.

Володя увел нас с Мишею в свою комнату. Между прочим, он со смехом рассказал, что вчера зашел в комнату девочек и нашел на столе четвертушку бумаги; на ней рукою Маши было написано несколько раз: «Милый Витечка, скоро тебя увижу». Миша и Володя смеялись, я тоже притворялся, что мне смешно, в душе же была радость и гордость.

А за чаем Маша не смотрела на меня, оживленно разговаривала с другими, а меня как-будто и не было. Я тоже стеснялся.

Пришли еще гости. После чаю были танцы. Мы дома учились танцам, умели танцовать и кадриль, и польку, и вальс. Однако в гостях танцовать нам еще ни разу не приходилось. Но все шло хорошо. Одно только меня удивило: первая же девочка, с которою я протанцовал польку, сказала мне: «мерси!» Как-будто я ей сделал какое одолжение. Как вежливый и воспитанный молодой человек, я ей, конечно, ответил: «Не стоит благодарности!» И все другие дамы, протанцовав со мною, благодарили меня, и я с снисходительным видом заверял их, что благодарить меня не за что. Наконец, решился пригласить на вальс Машу. И она после вальса сказала: «мерси», и ей в ответ я: «не стоит благодарности». Маша удивленно оглядела меня и рассмеялась... Чего она?

Об'явили кадриль. С замирающим сердцем я пригласил Машу Разговаривали чуждо, в голосе Маши была задорная насмешка. И вдруг она меня спросила:

— Ну, что, научил вас Володя держать вилку и ножик?

Я сконфузился, покраснел и глупо ответил:

— Научил. (Вот подлец! Рассказал ей!).

Она рассмеялась и спрятала лицо в носовой платок.

Встретившись с Юлей, я спросил, как ей понравилась Маша. Юля была от нее в восторге. Они уже сдружились.

— Правда, красавица?

— Да.

— Летом она была еще красивее: тогда волосы у ней были распущены, это к ней гораздо больше шло. В косу ей не так красиво.

— И как она тебя любит! Она прямо сказала, что любит тебя больше, чем всех своих братьев и сестер. Только вот что она тебе велела передать. Когда дама говорит кавалеру «мерси», он тоже должен ей говорить «мерси», а не «не стоит благодарности».

Я покраснел.

Через четверть часа Маша появилась в зале с распущенными волосами. Варвара Владимировна недовольно сказала:

— Зачем это ты, Маша, волосы распустила?

— Очень, мамаша, жарко,—так прохладнее.

И она прошла мимо меня, обмахиваясь носовым платком, и громко позторила, чтоб я слышал:

— Какая несносная жара!

Перед ужином все мальчики были в комнате Володи. Володя сказал:

— Витя, давай Машу испугаем. Мы пошлем к ней сказать, что ты себе разбил голову.

— Ладно!

Коля, младший братишка Володи, побежал к девочкам, а я сел к окну, спиною к комнате, и обеими руками схватился за голову.

Толпою вбежали девочки. Я вскочил и захохотал. Маша стояла с блестящими глазами и удивленно смотрела. А я хохотал ей в лицо и восклицал:

— Ага! Что? Испугались!

Ужасно вышло глупо.

Дома я подробно расспросил Юлю, о чем она с Машей разговаривала, что ей говорила Маша про меня. Между прочим, когда девочки воротились к себе после мнимого со мною несчастия, Маша сказала Юле:

— На окне лежал мой серебряный наперсток. Когда я увидела, что Витя держится за голову, я поверила, что он, правда, расшибся. И я подумала: вот бы было хорошо, если бы его слезинка

упала в мой наперсток! Как бы я тогда этот наперсток берегла!

Я был очень польщен.

С удивлением вспоминаю я этот год моей жизни. Он весь заполнен образом прелестной синеглазой девочки с каштановыми волосами. Образ этот постоянно стоял перед моими глазами, освещал душу непрерывною радостью. Но с подлинною, живою Машею я совсем раззнакомился. При встречах мы церемонно раскланивались, церемонно разговаривали, она то-и-дело задирала меня, смотрела с насмешкой.

Всю же восторженную влюбленность, нежность и восхищение мы изливали друг другу через Юлю. Мне Юля рассказывала, с какою любовью Маша говорит обо мне, как расспрашивает о всех мелочах моей жизни; Маше сообщала, как я ее люблю, и какие подвиги совершаю в ее честь.

А подвиги я совершал замечательные.

Однажды взобрался я на крышу беседки,—была она аршин с пять над землей. Брат Миша шутливо сказал:

— Ну-ка, если любишь Машу,—спрыгни с беседки.

Он и мигнуть не успел,—я уж летел вниз. Не удержался на ногах, упал, расшиб себе локоть. Миша в ужасе бросился ко мне, стал меня поднимать и сконфуженно повторял:

— Ах, ты, чудак! Я пошутил, а ты вправду!

— Вот ерунда! Ничего мне не больно!—И я засмеялся.

Когда Плещеевы пришли к нам, Юля показала Маше беседку и рассказала, как я спрыгнул с нее в честь Маши. С ликованием в душе я после этого поймал на себе пристальный, удивленный взгляд Маши.

Или еще так. Кактус на окне. Кто-нибудь из сестер скажет:

— Если любишь Машу, сожми кактус рукой.

И я сжимаю кактус и потом, на глазах благоговейно потрясенных сестер, вытаскиваю из ладони колючки и сосу кровь. Конечно, об этом при первой встрече передавалось Маше.

Иногда моею любовью пользовались даже с практическими целями. Раз Юля забыла в конце сада свою куклу, а было уже темно. Юля горько плакала: ночью мог пойти дождь, мальчишки из соседних садов могли украсть. Двоюродная сестра Констанция сказала:

— Если любишь Машу,—принеси Юле куклу.

И я пошел в сад, полный мрака, октябрьского холода и осенних шорохов, и принес куклу. И замечательно: просто бы пошел,—все бы казалось: вот из-за куста выступит темная фигура жулика, вот набежит по дорожке бешеная собака. А тут,—идешь, и ничего не страшно; в душе только гордая и уверенная радость.

На груди, на плечах и на бедрах я вывел себе красными чернилами буквы М. П. и каждый день возобновлял их. Товарищи мои в гимназии все знали, что я влюблен. Один, очень умный, сказал мне, что влюбленный человек обязательно должен читать про свою возлюбленную стихи. Я не знал, какие нужно. Тогда он мне добыл откуда-то, я их выучил наизусть и таинственно читал иногда Юле. Вот они:

Дни счастливы миновались,
Дни прелестнейшей мечты,
В кои чувства услаждались,
Как меня любила ты.
Как ты радостно ходила
В том, что я тебя любил!
«Дорогой,—мне говорила,—
«Ты по смерть мне будешь мил.
«Прежде мир весь изменится,
«Чем любовница твоя,
«Прежде солнца свет затмится,
«Чем тебя забуду я!»

Маша через Юлю пожелала ознакомиться со стихами, но мне хотелось подразнить любопытство Маши, я не давал. Сказал только, что стихи начинаются так: «Дни счастливы».



На Рождество я Маше послал по почте письмо. На именины свои, 11 ноября, я, между прочим, получил в подарок «папетри»— большой, красивый конверт, в котором была разноцветная почтовая бумага с раскрашенными цветочками, такие же конверты, тоже с цветочками, чистые визитные карточки с узорными краями. На серо-мраморной бумаге с голубыми незабудками я написал:

МАШЕ ПЛЕЩЕЕВОЙ.

Дни счастливы . . . .
Дни . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Прежде . . . .
Чем . . . .
Прежде . . . .
Чем . . . .

Примите и пр.

N. N.

24 декабря 1877 г.

В этот же конверт я вложил узорно-каемчатую визитную карточку и на ней красиво вывел печатными буквами:

Викентий Викентьевич

СМИДОВИЧ

ученик II класса Тульской Классической Гимназии.

Все письмо мне очень понравилось своею дразнящею загадочностью, больше же всего нравилась подпись: «Примите и пр.» Что такое «пр.»,—я не знал, но, конечно, это было что-нибудь значи-

тельное и совершенно взрослое: такую подпись я часто встречал в газетах, когда отыскивал в них интересовавшие меня «несчастные происшествия».

Маша, наконец, настояла на своем, и я передал ей через Юлю стихи. Они ей совсем не понравились. Через Юлю Маша предложила прислать мне другие стихи, более подходящие, чтобы я их читал про нее. Меня это предложение покоробило, и я отказался.

В детстве мы молились с мамой так:

«Боже! Спаси папу, маму, братьев, сестер, дедушку, бабушку и всех людей. Упокой, боже, души всех умерших. Ангел-хранитель, не оставь нас. Помоги нам жить дружно. Во имя отца, и сына и святого духа. Аминь».

Когда мы подросли, с нами стали читать обычные молитвы: на сон грядущий, «Отче наш», «Царю небесный». Но отвлеченность этих молитв мне не нравилась. Когда нам было предоставлено молиться без постороннего руководства, я перешел к прежней детской молитве, но ввел в нее много новых, более практических пунктов,—чтоб разбойники не напали на наш дом, чтоб не болел живот, когда с'ешь много яблок. Теперь вошел еще один пункт,—такой:

— Господи, сделай так, чтоб Маша меня всегда любила, и чтоб я ее всегда любил, и чтоб она за меня замуж вышла.

Впрочем, на бога я мало рассчитывал. Бог — это была власть официальная; ей, конечно, нужно было воздавать почет, но многого ждать от нее было нечего. Была другая сила, темная и злая гораздо более могущественная, нежели бог. Молиться ей было глупо, но можно было пытаться надуть ее.

Давно уже я заметил: если скажешь,—«я наверно пойду завтра гулять», то непременно что-нибудь помешает: либо дождь пойдет, либо нечаянно нашалишь, и мама не пустит. И так всегда, когда скажешь «наверно». Невидимая злая сила внимательно подслушивает нас и, на зло нам, все делает наоборот. Ты хочешь того-то,— на ж тебе вот: как раз противоположное!

На этом я и основал свой маневр. Помолившись, я закутывался в одеяло и четко, раздельно произносил мысленно:

— Наверно Маша меня разлюбит, и я ее разлюблю, наверно я завтра из всех предметов получу по единице, наверно завтра папа и мама умрут, наверно у нас будет пожар, заберутся разбойники и всех нас убьют, наверно из меня выйдет дурак, негодяй и пьяница, наверно я в ад попаду,—

— наверно, наверно, наверно...

Соображения мои были вот какие: если все это сбудется, то,—

ЗНАЧИТ, Я ПРОРОК!

Я формулировал это весьма вызывающее: «Да, значит, тогда я пророк!» Но я нисколько не сомневался, что враждебная сила ни за что не потерпит, чтобы я, Витя Смидович, вдруг оказался пророком. Вроде Исаии или Иеремии! Да ведь и, правда, странно бы: пророки—Исаия, Иезекииль, Илия, Елисей, Витя Смидович. Ни за что бы судьба этого не допустила! На зло мне, она возьмет и все сделает как раз наоборот.

И с вызовом, все так же четко и раздельно, я повторял:

— Наверно, наверно, наверно...

Обязательно нужно было твердить «наверно», пока не заснешь. Тогда я чувствовал свое дело вполне обеспеченным.

В Туле у нас нередко выступал с концертами «народный певец» Д. А. Славянский со своею «капеллою».

Бело-колонный зал Дворянского Собрания. На эстраду выходят мальчики и взрослые мужчины, расстанавливаются полукругом. Долго все ждут. И вот, выходит он. Крупный, с большой головой, на широком купеческом лице кудрявая бородка, волосы волнистым изгибом ложатся на плечи; черный фрак и белый галстух на широкой крахмальной груди. Гром рукоплесканий. Он раскланивается, потом, не оглядываясь, протягивает назад руку в белой

перчатке. Мальчик почтительно вкладывает в нее дирижерскую палочку из слоновой кости. Все замолкает. Он поднимает палочку.

Хор у него был прекрасный. Исполнялись русские народные песни, патриотические славянские гимны и марши—«Тихой Марицы волны шумите» и др.; в то время как раз шла турецко-сербская и потом русско-турецкая война. Помню такой марш:

Мы дружно на врагов,
Друзья, на бой спешим,
За родину, за славу,
За честь мы постоим!

Пусть наше оружье
Смирит врагов славян,
Пусть знает рать вражья,
Как силен наш народ!

Запевал всегда сам Славянский, жидким и сладким тенорком. Пел он и один. Высоко поднимет голову и нежно, протяжно заведет:

А-а-а-а-а-ах, ты...

Потом вдруг нахмурит брови, мотнет лбом:

... тпруська, ты тпруська-бычок!
Молодая ты говядина!..

И бешеный хохот по всему залу. Очень еще публика любила другую его русскую песню, про Акулинина мужа. Пел он и чувствительные романсы,— «А из рощи, рощи темной песнь любви несется»... Никогда потом ни от чьего пения, даже от пения Фигнера, не переживал я такой поднимающей волны поэзии и светлой тоски. Хотелось подойти к эстраде и поцеловать блестяще начищенный носок его сапога. Тульская публика тоже была в восторге от Славянского, и билеты на его концерты брались нарасхват.

Мы наизусть знали все любимые номера Славянского и дома постоянно пели «Мы дружно на врагов», «Тпруську-бычка» и «Аку-

линин муж, он догадлив был». Теперь я то-и-дело стал распевать такой его романс:

Твоя милая головка
Часто спать мне не дает
И с ума меня, я знаю,
Окончательно сведет.

Твоя шейка, твои глазки
Все мерещатся во сне
И своею негой страстной
Зажигают кровь во мне.

И во сне я их целую,
Не могу свести с них глаз...
О, когда же наяву я
Поцелую их хоть раз!

Пел я романс так часто и с таким чувством, что мама сказала: если она еще раз услышит от меня эту песню, то перестанет пускать к Плещеевым.

И совершенно напрасно. Никакой страстной негой моя кровь не кипела, во сне вовсе я не целовал ни шейку Маши, ни глазки, и даже не могу сказать, так ли уж мне безумно хотелось поцеловать Машу на яву. «Милая головка»—больше ничего. Пел я про страстную негу, про ночные поцелуи,—это были слова, мысль же была только о милой головке, темно-синих глазах и каштановых кудрях.

А между тем темно-сладострастные картины и образы голых женщин уже тяжко волновали кровь. С острым, пронзающим тело чувством я рассматривал в «Ниве» картинки, изображавшие турецкие зверства и обнаженных болгарских девушек, извивающихся на седлах башибузуков. Но ни к одной живой женщине, а тем более к Маше, никакого сладострастного влечения не чувствовал.

Плещеевы одну только эту зиму собирались прожить в Туле. Весною старший их брат, Леля, кончал гимназию, и к следующей осени все Плещеевы переезжали в Москву.

Я решил сняться и обменяться с Машею фотографиями. У них в альбоме я видел Машину карточку. Такая была прелестная, такая похожая! Но у меня моей карточки не было. Зашел в фотографию Курбатова на Киевской улице, спросил, сколько стоит сняться. Полдюжины карточек визитного формата—три рубля. У меня дух захватило. Я сконфузился, пробормотал, что зайду на-днях, и ушел.

Но от намерения своего не отказался. От именинного рубля у меня оставалось 80 коп. Остальные я решил набрать с завтраков. Мама давала нам на завтрак в гимназии по 3 коп. в день. Я стал теперь завтракать на одну копейку,—покупал у гимназической торговки Комарихи пеклеванку,—а две копейки опускал в копилку.

Наконец, набрал три рубля. Снялся. С пристальным любопытством рассматривал белобрысую голову с оттопыренными ушами. Так вот я какой!

Но обменяться карточками нам не позволили. Варвара Владимировна сказала: обмениваться, так уж всею семьею, а одной Маше с Витею,—это неприлично.

Неприлично! Было мне одиннадцать, а ей—десять лет.

Карточки Машиной мне не пришлось получить. Но у меня были ее волосы: через Юлю мы обменялись с нею волосами. И до сих пор не могу определить, что в этой моей любви было начитанного и что—подлинного. Но знаю, когда я в честь Маши прыгал с беседки, в душе был сверкающий восторг, смеявшийся над опасностью; и когда я открывал аптечную коробочку с картинкой и смотрел на хранившуюся в ней прядь каштановых волос,—мир становился для меня значительнее и поэтичнее.

Но и волос этих я лишился. Сам лишил их себя! Мы обещались на Машины именины, первого апреля, прийти к Плещеевым. Но у Юли было много уроков, а одного меня мама не пустила,—неудобно: мальчик один на именины к девочке!

Между тем Маша как раз загадала: если Витя сегодня придет,—значит, он меня, правда, любит, а не придет—значит, не любит. Я не пришел, и она в гневе сожгла мои волосы.



Узнал я об этом и ужасно разозлился, самолюбиво-обиженно разозлился. Мало ей, что я в ее честь прыгаю с высоких крыш, сжимаю рукою колючие кактусы! Многие ли бы стали это делать? А она мои волосы жечь!.. Ладно же! Очень надо! Вынул из хорошенькой коробочки прядь каштановых волос, обмакнул в стеарин горящей свечи и сжег.

Потом жалел до отчаяния.

Тетя-Анна сказала:

— Вот, мы теперь смеемся. А, может быть, вырастут—и вправду женятся.

Мама серьезно возразила:

— Они друг другу совсем не пара. Маша—дочь состоятельных родителей, привыкла к богатой жизни, а Витя должен будет жить своим трудом.

Я начал делать у себя тщательный боковой пробор на голове, приглаживал мокрою щеткою волосы, чтоб лежали, как я хотел; из-за серебряно-позументного воротника синего мундирчика стал выпускать крахмальный воротничок. На собственные деньги купил маленький флакон духов и надушил себе платок.

Проходил мимо папа, потянул воздух носом.

— Что это, Виця? Надушился ты, что ли?

— Ммм... Собственно...

— Надушился?—Он понизил голос, как бы говоря о чем-то очень секретном и позорном.—Да разве ты не знаешь, кто душится?

— Кто?

— Тот, конечно, от кого воняет. Чтоб заглушить вонь, которая от него идет. Неужели ты хочешь, чтоб о тебе думали, что ты воняешь?

Этого-то я не хотел, душиться перестал. Но на флакончик свой поглядывал со скорбью.

У всех шли экзамены. Целый месяц мы с Плещеевыми не виделись. И только в конце мая, перед от'ездом своим в Богучарово, они пришли к нам. Прощаться. Навсегда. Я уже говорил: осенью Плещеевы переезжали в Москву.

Девочки с гувернанткою уже пришли. Я слышал в саду их голоса, различал голос Маши. Но долго еще взволнованно прихорашивался перед зеркалом, начесывал мокрою щеткою боковой пробор. Потом пошел на двор, позвал Плутона—и со смехом, со свистом, с весело лающим псом бурно побежал по алее. Набежал па Плещеевых,—удивленно остановился, как-будто и не знал, что Плещеевы у нас,—церемонно поздоровался.

Стали расхаживать, как большие, и чинно беседовали. Юля захотела показать девочкам щенков Каштанки, но калитка на двор оказалась запертой. Была она гладкая, в сажень высоты. Юля собралась бежать кругом через кухню, чтоб отпереть калитку. Я сказал:

— Не надо. Я так открою.

Разбежался, с маху схватился за верх калитки, быстро подтянулся на руках и сел на нее верхом. Увидел изумленные глаза Маши. Такой пружинистый, напряженный восторг был в теле,—право, кажется,—оттолкнулся бы для Маши от земли и кувырком понесся бы в мировые пространства.

Пришел Володя Плещеев. Он стал высокомернее, все говорил о Москве и о своей радости, что уезжает из этой дыры (Тулы. Почему дыра? Где в ней дыра?).

Постепенно застенчивость моя исчезла. Мы много бегали, играли.

В сумерки Плещеевы собрались уходить. Мы все стояли в передней. Я делал грустные глаза, смотрел на Машу и тихонько говорил себе: «навсегда!» Она поглядывала на меня и как-будто чего-то ждала.

Распрощались. Они ушли. Я жадно стал расспрашивать Юлю про Машу. Юля рассказала: перед тем, как уходить, Маша пришла с Юлею под окно моей комнаты (оно выходило в сад) и молилась на окно, и дала клятву, что никогда, во всю свою жизнь, не забудет меня и всегда будет меня любить. А когда мы все уже стояли

в передней, Маша выбежала с Юлею на улицу, и Маша поцеловала наш дом. Юля отметила это место карандашиком.

— Пойдем, покажи!

Вышли на улицу, белую в майских сумерках, с улегшеюся пылью. Около первого окна, близ крыльца, Юля отыскала свой карандашный кружочек. Я с трепетом и радостною грустью поцеловал это место.

И после я часто в сумерки выходил на улицу и крепко целовал обведенное карандашиком место, к которому прикоснулись машины губки.

За вечерним чаем я об'яснял Юле и двоюродной сестре Констанции, что такое «ускок». Качели должны были изображать галеру, Юля—богатую венецианскую девушку, Констанция—ее няню, я—атамана ускоков.

— Вы раскачайтесь повыше, а я подкрадусь из-за кустов, вскочу на корабль, и произойдет битва.

Папа разговаривал с мамой. Я услышал: «Плещеевы», «Маша». Мы прислушались.

— Так что все уже уехали в Богучарово, а Варваре Владимировне пришлось остаться с Машей в городе...

— Папа, почему Маша осталась?

Оказалось: Маша вчера на улице споткнулась о тумбу, упала и сильно расшибла себе ногу, так что ее на извозчике отвезли домой, и она до сих пор лежит.

Девочки с сочувствием глядели на меня. Я молча встал и ушел в сад.

В заднем углу сада, за густою бузиною, я прислонился локтем к забору, лоб положил на локоть и собрался плакать. Но слезы почему-то не шли. Мне было стыдно, я повторял себе:

— Бедная Машечка!

Представлял себе, как она лежит на тротуаре, как кровь ручьем хлещет из разбитой ноги, как она стонет...

— Бедная, бедная моя Машечка!

Но слезы не являлись. Я тер кулаком глаза, сопел носом,— никакого результата.

Из-за кустов доносился скрип качелей, смех девочек. Я для проформы высморкался, достал из кармана деревянный кинжал и осторожно пополз меж кустов к венецианской галере.

— Братцы! За мной!

Во главе невидимых товарищей я одним махом вскочил на высоко взлетавшие качели. Галера села на мель. С ножом в зубах я бросился к венецианской красавице.

Юля с укором смотрела на меня и качала головою.

— Маша ногу себе расшибла, а ты играешь и смеешься!

Я опешил. Вынул из зубов кинжал, спрятал в карман, помолчал и плаксивым голосом сказал:

— Я старался рассеяться. Все время плакал, насилу утешился. А ты мне опять напомнила!

Заморгал глазами, потянул в себя носом и, волоча ноги, побрел к себе за бузину. Опять попытался плакать. Ни слезинки! Делать нечего. Воровато огляделся,—послюнявил пальцы. По щекам протянулись две широкие мокрые полосы. Я пошел к девочкам и спросил Юлю, сердито всхлипывая:

— Ну, что? Довольна ты теперь?

Юля в раскаянии стала просить у меня прощения. Они с Констанцией стали меня утешать, что Маша не очень больно расшиблась, что, наверно, она скоро поправится.

Я всхлипывал все сильнее. Юля переглянулась с Констанцией.

— Витя, ну, ведь, все равно, Маше не станет легче, что ты об ней плачешь... Пожалуйста, пойдем играть в ускоки!

— Не хочу!

И вдруг я заплакал, и настоящие слезы хлынули из глаз. И, сладко плача, я пошел за бузину.



Вот и все. Осенью Плещеевы уехали в Москву. От Володи мы с Мишею получили коротенькое письмецо. Кончалось оно так:

«Извините, что пишу так мало. Некогда: спешу на аристократический бульвар, на rendez-vous с одним молодым человеком из хорошего семейства».

Маши я больше никогда не видел. Слышал, что она была замужем за губернатором и выдавалась своею красотою.

Бабушка мне подарила новенькую полушку. Блестящая, крохотная монетка, на ней написано: $\frac{1}{4}$ копейки. Полюбовался. Стал думать,—что с нею делать? Опустить в копилку? Не стоит. На четверть копейки больше, меньше—не все равно? И что на нее купишь?

Решил отдать нищему.

Как раз в этот же день увидел в окошко: на приступочке крыльца, через улицу, сидит старик-нищий, опустил седую голову, медленно пожевывает беззубым ртом.

Я достал свою полушку, пошел, и спешил вспомнить,—за кого чтоб молился нищий: за меня, конечно, и за Машу Плещееву, за папу и маму; за бабушку,—ведь она мне дала полушку; потом за упокой души—дедушки Викентия Михайловича и другого дедушки, маминого отца, Павла Васильевича.

Подошел к нищему, подал монетку и благочестиво заговорил:

— Молись, дедушка, за здравие Викентия и Марии, Викентия и Елизаветы, Анисии, потом за упокой души...

Я ждал благодарно-внимательного взгляда старика. Но он посмотрел на свою ладонь с моей моneткой и, не дослушав, деловито сказал:

— Полушка... А копейки, малый, не найдется? Не хватает у меня на два фунта хлеба...

Я сконфузился.

— Копейки? Кажется, есть. Сейчас посмотрю.

— Поди, погляди.

У меня было три копейки на завтрашний завтрак в гимназии,—нам каждый день выдавали на это по три копейки. Пошел домой,

достал из своего стола копейку и дал старику. И уж не посмел заикнуться о своем и Маши Плещеевой здравии. Старик равнодушно сказал:

— Спасибо.

И спрятал копейку. И даже не переспросил, о чьем здоровье поручено ему позаботиться на этом свете, и сколько душ спасти на том.

Полицмейстер у нас был очень замечательный и глубоко врезался мне в память. Александр Александрович Тришатный. Невысокий, полный, очень красивый, с русыми усами, с тем меланхолически-благородным выражением в глазах, какое приходилось наблюдать только у полицейских и жандармских офицеров. Замечателен он был в очень многих отношениях.

Во-первых. Один во всей Туле он раз'езжал в санках, запряженных в «пару на отлете»: коренник, а с правой стороны, свернув шею кольцом,—пристяжная. Мчится, снежная пыль столбом, на плечах накидная шинель с пушистым воротником. Кучер кричит: «поди!» Все кучера в Туле кричали: «берегись!», и только кучер полицмейстера кричал: «поди!» Мой старший брат Миша в то время читал очень длинное стихотворение под заглавием «Евгений Онегин». Я случайно как-то открыл книгу и вдруг прочел:

... в санки он садится,
«Поди! поди!»—раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

Я даже глаза вытаращил от радости и изумления: наш Тришатный! Сразу я узнал. Наверно, сочинитель бывал у нас в Туле.

Во-вторых, на всех афишах и об'явлениях внизу мелким шрифтом печаталось: «Печатать разрешается. Полицiймейстер А. Тришатный». И не «полицмейстер», а на каком-то неизвестном языке: «полицiймейстер». По-немецки,—я отлично знал,—будет «полицеймейстер».

Потом еще—сама фамилия. Тришатный. Три, а чего три,—никому неизвестно. Мещане и мужики называли его «Триштанный».

Но самое замечательное, самое непонятное и всего больше поражавшее мой ум было в нем то, что он только очень редкие фразы говорил по-русски, больше же всего говорил на великолепном французском языке, хотя кругом ни одного француза не было. Помню, упал человек на углу Киевской и Посольской и лежал боком, тяжело хрипя, со странным лицом, темным, как мокрый снег. Подкатил в своих санках Тришатный, соскочил, толпа перед ним раздалась. Он на русском языке велел городовому привести извозчика, а потом быстро заговорил по-французски, устремив взгляд куда-то поверх наших голов. Бабы, разинув рты, смотрели ему в усы, я оглядывался: с кем это он? Никого подходящего не было. А он все говорил и говорил.—«Voyons!—N'est ce pas?—Eh bien!» Очень это большое во мне вызывало к нему уважение. И я думал: «наверно, он всегда живет в самом аристократическом обществе!»

Шел из гимназии и встречаю на Киевской Катерину Сергеевну Ульянинскую,—она бывала у нас раза два-три в год. Шаркнул ногой и протянул руку. Она, не вынимая своих рук из муфты, посмотрела на мою протянутую руку и любезно сказала:

— Здравствуйте, Витя!.. Как здоровье мамы?

Ух, как помню я свою красную от мороза, перепачканную чернилами руку,—как она беспомощно торчала в воздухе, как дрогнула и сконфуженно опустилась. Катерина Сергеевна поговорила минутки две, попросила передать ее поклон папе и маме и, все не вынимая рук из муфты, кивнула мне на прощанье головой.

С тех пор я хорошо помню, что нельзя первому подавать руки дамам.

И еще был один такой урок, который тоже запомнился мне на всю жизнь.

Мама велела мне зайти после всенощной в Петропавловскую аптеку и взять лекарство. Папа был популярный в городе врач, и в аптеке ко мне относились очень ласково. Раз, помню, для каких-то моих дел (кажется, чтобы спрятать волосы Маши Плещеевой) мне очень было нужно красивую, с картинками, коробочку от лекарств. Я зашел в Петропавловскую аптеку и спросил, конфузясь: можно у них купить коробочку одну, без лекарств? У аптекаря были длинные черные усы, они торчали прямо в стороны. Он улыбнулся, вышел в другую комнату и вынес мне сверточек.

— Сколько стоит?

— Ничего.

Пришел домой. Развернул. Вот радость! Большая зеленая коробочка с альпийским видом, и в ней что-то еще. Открываю,—другая коробочка, красная, на картинке два кролика. В ней—синяя, с девочкой. Еще и еще, все меньше,—так всего восемь коробочек!

Так вот—зашел я теперь в аптеку. Была метель, на гимназической моей фуражке и плечах шинели пластами лежал снег. Я подошел к конторке, протянул рецепт аптекарю,—тому самому, с усами. Он сурово оглядел меня и вдруг резко сказал:

— Потрудитесь снять шапку!

Я густо покраснел и снял. Аптекарь стал писать ярлычок, а я ждал: вот он сейчас увидит, что рецепт для доктора Смидовича, улыбнется и попросит у меня прощения. Но он так же сурово протянул мне ярлычек и отвернулся к другому покупателю.

Я долго взволнованно ходил по улицам, под ветром и снегом. До сих пор мне странно вспомнить, как остро пронзало мне в детстве душу всякое переживание обиды, горя, страха или радости,— какая-то быстрая, судорожная дрожь охватывала всю душу и трепала ее, как в жесточайшей лихорадке. С горящими глазами я шагал через гребни наметенных сугробов, кусал захолодавшие, красные пальцы и думал:

Вот бы хорошо, если бы я был полицмейстер Тришатный! Так бы в санках, в паре на отлете, я подлетаю к Петропавловской аптеке. Вошел, протянул указательный палец:

— В двадцать четыре часа вон из Тулы!

Аптекарь побледнел, испуганно стал спрашивать:

— За что?

— Ты знаешь, за что! В двадцать четыре часа вон!

И больше ничего не стал слушать. Повернулся—и назад в санки свои. Кучер кричит: «поди! поди!» Морозной пылью серебрится мой бобровый воротник.

И отлегало от души, и дрожь в ней затихала. Я уже колебался,—не оставить ли аптекаря, так и быть, в Туле? И вдруг опять острая боль пробивала душу, и я вспоминал: вовсе я не Тришатный, аптекарь спокойно стоит себе за конторкой и совсем не раскаивается в том, что так меня обидел. И я дальше, дальше шел в вьюжную темноту и курящиеся сугробы.

Царь. Его опять хочет застрелить нигилист, а я, как мужичок Комиссаров,—только не толкаю нигилиста под руку, а бросаюсь вперед и грудью заслоняю царя, и пуля мне в грудь на вылет. Я лежу, умираю, царь меня спрашивает: чего я хочу? Все будет исполнено. И я ему:

— Есть в Петропавловской аптеке такой аптекарь Гессе...

Тьфу! Опять!.. И никакого царя я не спас, и никто меня не спрашивает, и Гессе ничуть не раскаивается!.. И, мыча от боли, я распахивал шинель навстречу вьюге.

Лет через двадцать пять, в Париже, я зашел в магазин купить себе галстух—и машинально поспешил снять шляпу. Приказчик с сконфуженным, страдающим за меня лицом потихоньку сказал:

— Мосье! Наденьте шляпу.

Когда мне было лет 11—12, жизненное мое призвание определилось для меня с полной точностью. Я прочел роман «Морской волк»,—кажется, Купера,—несколько романов Жюля Верна и бесповоротно убедился, что я рожден для моря и морской службы. К тому же я случайно увидел на улице кадета морского корпуса. Мне очень понравилась его стройная фигура в черной шинели с белозолотыми погонами, и особенно—бескозырная шапка с ленточками.

Но всякому, читавшему повести в журнале «Семья и Школа», хорошо известно, что выдающимся людям приходилось в молодости упорно бороться с родителями за право отдаться своему призванию,—часто им даже приходилось покидать родительский кров и голодать. И я шел на это. Помню: решив окончательно об'ясниться с папой, я в гимназии, на большой перемене, с грустью ел рыжий треугольный пирог с малиновым вареньем и думал: я ем такой вкусный пирог в последний раз.

Вечером я решительно вошел к папе в кабинет, и, задыхаясь от волнения, сказал:

— Папа, мне с тобой нужно очень серьезно поговорить.

Папа оторвался от книги и внимательно посмотрел на меня поверх очков.

— Пожалуйста. В чем дело?

— Вот что.—Я потерял дыхание, поймал его и продолжал.— Я долго думал и пришел к окончательному выводу, что мое настоящее призвание есть... морская стихия.

— Какая стихия?

— Мо... морская. То-есть, значит,—море.

— Море?

— Да.

— Угу!

— И мое решение непоколебимо. Я решил бросить гимназию и поступить в морской корпус. Не отговаривай меня, это дело решеное, я не могу противиться моему призванию.

Папа все так же внимательно и серьезно смотрел на меня поверх очков.

— Раз ты чувствуешь, что это—твое призвание, то противиться ему, конечно, не следует. Хорошо, будь моряком. Но ты кем хочешь быть,—матросом, чтобы только мыть шваброй полы на корабле, или капитаном, чтобы управлять кораблем?

— Я бы лучше хотел быть капитаном.

— Вот видишь. А теперь, чтобы стать капитаном, нужно быть очень образованным человеком: нужно знать высшую математику, астрономию, географию, метеорологию... Мы, значит, сделаем так

ты кончишь гимназию и тогда сейчас же поступишь в морской корпус. Раз это, действительно, твое призвание, то к нему необходимо отнестись самым серьезным образом.

Я вышел от папы с облегченным сердцем и с чувством победителя. И только одно было горько: как долго еще ждать,—целых пять лет!

Когда я был в приготовительном классе, я в первый раз прочел Майн-Рида: «Охотники за черепами». И каждый день за обедом в течение одной или двух недель я подробно рассказывал папе содержание романа,—рассказывал с великим одушевлением. А папа слушал с таким же одушевлением, с интересом расспрашивал,—мне казалось, что и для него ничего не могло быть интереснее многотрудной охоты моих героев за скальпами. И только теперь я понимаю,—конечно, папа хотел приучить меня рассказывать прочитанное.

В 1879 году в Сиднее, в Австралии, должна была открыться всемирная выставка. Однажды в субботу, за ужином, папа стал мечтать. Первого января тираж выигрышного займа. Если мы выиграем двести тысяч, то все поедем в Австралию на выставку. По железной дороге поехали бы в Одессу, там сели бы на пароход. Как бы он пошел? Через Константинопольский пролив... «Принеси-ка, Витя, географический атлас!»

Мы обсели атлас, жадно следим, как пароход пойдет через Мраморное море, через Эгейское. Остановка в Смирне... «Где Смирна, ну-ка? Вот она... Через Суэцкий канал. Доехали до Австралии. Что нам там смотреть?» Папа принес какие-то книги, читаем, как открыли Австралию, про климат, про фауну и флору... А что такое фауна? Папа, надев очки, читает про зверей Австралии. Вот потеха! Сумчатые животные. Оказывается, не только кенгуру, а самые разные животные в Австралии—всё двуутробки, с сумками на животах! И мыши, и куницы, и летучие мыши, и даже волки!.. Растения. Фикусы,—вот те самые, которые у нас возле окон,—оказывается, они из Австралии! Целые огромные рощи вот из таких фикусов!

Мы будем в них гулять! В роще из фикусов!—И еще оказывается: из этих фикусов добывается каучук,—тот самый каучук, из которого делают резину для мячиков, резинок и девочкиных подвязок. Вот потеха!

Немного откинув назад голову, папа читает сквозь очки:

«Случающиеся по временам засухи составляют для колонистов, страдающих от них каждые 10—12 лет, самое тяжкое бедствие: они губят и хлеб, и скот. Только Виктория и Южная Австралия не посещаются этими бичами»...

Горя глазами, я жадно расспрашиваю:

— «Бичами»?.. А в других местах колонистов бьют бичами? Кто их бьет?..

Поздно вечером мы расходимся спать, и долго еще говорим про Австралию,—благо, завтра воскресенье, можно спать, сколько угодно. Значит, скоро поедем... И ах! Только утром, проснувшись с протрезвившимися головами, мы соображаем, что для всего этого требуется еще один маленький пустячок: выиграть двести тысяч!..

Но географию Австралии мы за один вечер совершенно незаметно прошли так, как не прошли бы, заучивая уроки о ней, в течение недели.

КАК Я ЧИТАЛ «МЕРТВЫЕ ДУШИ».—Папа мне сказал:

— Что ты все читаешь эту дрянь,—Майн-Рида твоего, Эмара? Почитай «Мертвые души».

И привез мне их. Я прочел с увлечением, мне очень понравилось. В разговоре я так и сыпал гоголевскими выражениями. «С ловкостью почти военного человека», «во фраке наваринского дыма с пламенем» и т. п. Как-то за обедом папа спросил:

— Ну, что, Вица, прочел «Мертвые души»?

— Да.

— Как тебе понравился Плюшкин?

— Плюшкин? Такого там нет.

Папа расхохотался.

— Как нет? Ну, а Ноздрев, Собакевич, Манилов?

Я с недоумением ответил:

— И таких нет.

— Вот потеха! Кто же есть?

— Чичиков есть, Тентетников, генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух...

Конфуз получился большой. Папа безнадежно вздохнул и махнул рукою.

В чем же дело? До сих пор не могу понять, как это случилось,—но всю первую часть книги я принял за... предисловие. А это я уже и тогда знал, что предисловия авторы пишут для собственного удовольствия, и читатель вовсе их не обязан читать. И начал я, значит, прямо со второй части...

Вообще, много неприятностей доставили мне эти «Мертвые души». В одном месте Чичиков говорит: «это полезно даже в геморроидальном отношении». Мне очень понравилось это звучное и красивое слово,—«геморроидальный». В воскресенье у нас были гости. Ужинали. Я был в ударе. Мама меня спрашивает:

— Витя, хочешь макарон?

— О, да, пожалуйста! Это полезно даже в геморроидальном отношении!

Я с шиком выговорил это слово, и оно звучно пронеслось по столовой, вызвав момент всеобщей тишины. Взрослые гости наклонили лица над тарелками. Папа опустил руки и широко открытыми глазами взглянул на меня:

— Виця! Как же ты употребляешь слова, которых не понимаешь?

После ухода гостей он мне основательно намылил голову и об'яснил, что значит это звонкое слово.

С Лермонтовым я познакомился рано. Одиннадцати-двенадцати лет я знал наизусть большие куски из «Хаджи-Абрека», «Измаил-бея» и «Мцыри». В «Хаджи-Абреке» очень дивила меня несообразительность людская. Хаджи-Абрек, чтоб отомстить Бей-Булату

за своего брата, убил возлюбленную Бей-Булата, Леилу, и сам ускакал в горы. Через год в горах нашли два окровавленных трупа,— крепко сцепившиеся друг с другом и уже разложившиеся.

Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал;
В одном узнали Бей-Булата,
Никто другого не узнал.

А я вот узнал. Сразу, без малейшего труда, узнал: второй был Хаджи-Абрек. А как же там никто не догадался?!

Знал я наизусть и «Бородино». Одну из строф читал так:

Мы долго молча отступали.
Досадно было,—боя ждали.
    Ворчали старики:
«Что ж мы? На зимние квартиры?
«Не смеют, что ли, командиры
«Чужие изорвать мундиры?
    О, русские штыки!»

Соображая теперь, думаю, что больше в этом виноват был Лермонтов, а не я. Какая натянутая, вычурная острота! Совершенно немыслимая в устах старых солдат: «не смеют, что ли, командиры изорвать чужие мундиры о русские штыки?»

Очень увлекался я книжкою Грубе «Очерки из истории и народных сказаний»,—мне ее подарили на именины, когда я был в первом классе. Красивый коленкоровый ярко-голубой переплет с золототисненым заглавием, и на корешке мои инициалы: В. С. Очерки древне-греческой мифологии, греческой и римской истории. Я хорошо эту книжку знал, был великолепно ориентирован во всех греческих богах, греческих и римских героях. Очень раз отличился в классе. Во втором классе история еще не проходилась. И вдруг я, на уроке русского языка, в упражнениях на условные предложения, написал такую фразу: «Если бы Марий не разбил кимвров и тевтонов, то Рим, может быть, навсегда бы погиб».

— Смидович! Что это ты написал? Что ты знаешь про кимвров, тевтонов и Мария?

Я с одушевлением стал рассказывать о вторжении диких германских варваров в Италию, о боях с ними Мария, о том, как жены варваров, чтобы не достаться в руки победителям, убивали своих детей и закалывались сами. Учитель, задавший мне свой вопрос с ироническим недоверием, слушал, пораженный, и весь класс слушал с интересом. Я получил за свою работу пять с крестом,— у нас отметка небывалая.

Слава о моем превосходном знании древней истории и особенно греческой мифологии понемногу стала очень прочной. Однажды в воскресенье, когда у нас были гости, папа сказал Докудовскому, председателю земской управы, указывая на меня:

— Вот,—знаток греческой мифологии: про любого греческого бога расскажет самым обстоятельным образом. Спросите-ка его что-нибудь.

Я скромно и горделиво ждал. Он с любопытством повернулся ко мне, оглядел умными, насмешливыми глазами.

— Посмотрим! Ну-ка, молодой человек, скажите мне,—кто такая была Геката?

Геката... Про нее ничего у Грубе не говорилось. Я растерянно молчал.

— Ну, или вот—Ламия?

И про Ламию ничего не было у Грубе... Мама, чтоб оправдать меня, сказала:

— Сконфузился!

Я поспешил исчезнуть.

КАК Я УЗНАЛ ПРО ТАЙНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.—Кажется, был я тогда в третьем классе. Не помню, в сочинении ли, или в упражнениях на какое-нибудь синтаксическое правило, я привел свое наблюдение, что петух—очень злая птица: часто вдруг, ни за что, ни про что, погонится за курицей, вскочит ей на спину и начнет долбить клювом в голову. Класс дружно захохотал, а учитель, стараясь подавить улыбку, наклонился над классным журналом. Я был в большом недоумении.

Потом долго товарищи подтрунивали надо мною и сочувственно спрашивали:

— Ну, так как, Смидович, правда, какая злая птица— петух?

И хохотали. Но никто почему-то не соблазнился желанием об'яснить мне, в чем дело. И я продолжал недоумевать.

Уж через год товарищ Зейлер открыл мне тайну зачатия живых существ. Было это в нашем саду, раннею весною; среди веток с набухшими почками прыгали скворцы, ярко-зеленые стрелки пробуравливали бурые прошлогодние листья, от земли несло запахом здоровой прели. Меня ужасно удивило и рассмешило то, что Зейлер мне рассказал, и я долго не мог поверить, что это вправду так. Не наполнило меня это ни ужасом, ни сладострастным чувством. Всего мне было удивительнее: неужели взрослые, серьезные люди могут заниматься таким неприличным озорством? Потеха! Ей-богу, даже и мы, мальчишки, этакой штуки не придумали бы!

Воротился из гимназии, пошел домой двором, через кухню. Акулина жарила картошку. Очень вкусная бывает картошка, когда только что поджарена. Я стал есть со сковороды. Окна кухни выходили в сад,—вдруг слышу, папа с террасы кричит:

— Миша, Виця, Юля! Идите сюда! Скорей, скорей!

Таким тоном, что нас ждет что-то очень приятное. Он привел нас к себе в кабинет, усадил и стал читать.

У новогородской посадницы сидит важная боярыня Мамелфа Дмитриевна, потом приходит молодец Василько; говорят о том, что на вече выбрали нового воеводу... Картошка какая вкусная! Поспею еще в кухню?

Приходит посадник. Василько проговаривается, что затеял с товарищами этою ночью вылазку из осажденного Новгорода. Посадник в негодовании выясняет ему всю преступность их затеи в такое время, когда важен всякий лишний человек... Я прикидывал глазом,—много ли остается чтения? Много. Эх, не поспею в кухню.

Акулина поставит картошку в духовку,—тогда уж не даст. А за обедом совсем уж другой вкус у картошки.

Василько говорит, что сам теперь видит,—не дело затеял, да уж нельзя отступаться: товарищи назовут трусом.

ПОСАДНИК.

Ты разве трус?

ВАСИЛЬКО.

Ты знаешь сам, что нет.

ПОСАДНИК.

А коль не трус, о чем твоя забота?
Не пред людьми, перед собой будь чист!

ВАСИЛЬКО.

Так, государь, да не легко же...

ПОСАДНИК.

Что?
Чужие толки слушать? Своего,
А не чужого бойся нареканья,—
Чужое—вздор!..

Не видать мне больше картошки. Ну, да не беда! Хорошо!.. Папа читал строго, веско, с проникновенностью,—вот так он всегда и сам говорил нам такое. И сливался папа с посадником, и я не мог себе представить, чтоб посадник выглядел иначе, чем папа. Над душою вставало что-то большое, требовательное и трудное, но подчиняться ему казалось радостным.

Это была драма Алексея Толстого «Посадник». По воскресеньям у нас собирались «большие», происходили чтения. Председатель губернской земской управы Д. П. Докудовский, лысый человек с круглой бородой и умными, насмешливыми глазами, прекрасный чтец, привез и прочел эту драму. Папа был в восторге. Весь душевный строй посадника, действительно, глубоко совпадал с его собственным душевным строем. Он раздобыл у Докудовского книжку и привез, чтоб прочесть драму нам.

11 ноября были мои именины, и я получил в подарок от папы и мамы собрание стихотворений Ал. Толстого, где находилась и драма «Посадник». Красивый том в коленкоровом переплете цвета какао, с золототисненым факсимиле через всю верхнюю крышку переплета из нижнего левого угла в верхний правый: «Гр. А. К. Толстой». И росчерк под подписью тоже золототисненый.

На первой за переплетом чистой странице было написано фиолетовыми чернилами:

1879 года.

Может быть, в свете тебя не полюбят.
Но, пока люди тебя не погубят,
Стой,—не сгибайся, не пресмыкайся,
Правде одной на земле покланяйся!..
Как бы печально ни сделалось время,
Твердо неси ты посильное бремя,
С мощью пророка, хоть одиноко,
Людям тверди, во что веришь глубоко!
Мало надежды? Хватит ли силы?
Но до конца, до грядущей могилы,
Действуй свободно, не уставая,
К свету и правде людей призывая!

Завещание Вице от { В. Смидович. Е. Смидович.

Это стихотворение взято у А. Навроцкого, автора известной песни «Утес Стеньки Разина» (Есть на Волге утес...). Он в то время издавал либерально-консервативный журнал «Русская Речь». Папа выписывал этот журнал, и он ему очень нравился.

После «Сказки про воробья», о которой я рассказывал, ничего у меня так не отпечаталось в душе, как это завещание.

Мы наряжались на Святках. Когда стали перед обедом переодеваться, я залюбовался собою в зеркало: с наведенными китайскою тушью бровями и карминовым нежно-красным румянцем на щеках я был просто очарователен Вечером мы ехали на детский бал к Ла-

довским. И у меня мелькнуло: брови-то необходимо смыть,—сразу заметят, а румянец на щеках оставлю. Кто заметит? Ну, а заметят,—скажу:

— Чорт знает, что такое! Днем мы наряжались,—не успел хорошенько смыть!

Так и поехал на бал нарумяненным; да и брови-то смыл не особенно тщательно,—были не черные, а все-таки много темнее обычного. Сначала все шло хорошо,—никто ничего не замечал. Но начались танцы. Было жарко, душно; я танцовал с упоением в своем суконном синем мундирчике с серебряными пуговицами. В антракте вошел в комнату для мальчиков. Гимназисты увидели меня и стали хохотать:

— Господа! Посмотрите, как Смидович намазался!

Я сунулся к зеркалу,—позор! Разгоряченное мое лицо было великолепнейшего темно-кирпичного цвета, и на нем предательскими пятнами алел на щеках нежно-карминовый румянец.

Я, было, начал:

— Чорт знает, что такое! Наряжались сегодня, не успел смыть...

— Не успе-ел!.. Как девчонка, намазался!

Не поверили, подлецы.

Я взял из гимназической библиотеки роман Густава Эмара «Морской разбойник». Кто-то из товарищей,—или еще кто-то,—взял у меня книгу почитать и не возвратил. А кто взял, я забыл. Всех опросил,—никто не брал. Как быть? Придется заплатить за книгу рубль-полтора. Это приводило меня в отчаяние: отдать придется все, что у меня есть, останешься без копейки. А деньги так иногда бывают нужны!

Выдачею книг заведывал наш учитель греческого языка, Оттон Августович Дрейер. Близорукий, рыжий, с красным лицом. Стоя перед шкафом, он записывал взятые учениками книги и вычеркивал возвращаемые, а ученики толпились вокруг шкафа, брали с полок книжки, просматривали, выбирали. Раз стою я так, читаю корешки

книг на полках, и вдруг вижу: Ф. Купер. «Красный морской разбойник». Я побледнел и задохнулся, сердце мое застучало в грудь короткими, грубыми толчками. Взял книгу с полки, долго ее перелистывал, украдкой поглядывал на товарищей, переходил с места на место. Потом подошел к Дрейеру.

— Вот, Оттон Августович, я книгу сдаю,—«Морской разбойник».

Дрэйер мельком взглянул на корешок возвращаемой книги, стал вычеркивать, на секунду поднял брови,—его как будто удивило, что в его записи фамилия автора другая, чем на книжке. Он спросил:

— «Морской разбойник»?

— Да.

— Густава Эмара?

Я с твердым удивлением ответил:

— Нет, Фенимора Купера.

— Угу!

Больше ничего не сказал и вычеркнул. Бледный, трудно переводя дыхание, я вышел в коридор.

Другой раз было со мною так. Мы рядами стояли в гимназической церкви у обедни. Мой сосед со смехом сунул мне в руку три копейки.

— Передай дальше!

— Кому? На что?

— Я почем знаю! На свечку, что ли!

Я передал дальше. Через пять минут монета опять пришла ко мне. Гимназисты от скуки забавлялись тем, что не давали этим трем копейкам достигнуть своего назначения. Я в это время собирал на что-то деньги и опускал их в копилку. Зажал монету в руке и стал ждать, скажет ли мой сосед: «что ж не передаешь дальше?» Никто ничего не заметил. Я спустил деньгу в карман, а дома бросил в копилку.

Странно, когда теперь вспоминаешь молодость: как тогда глубоко и больно вжигались в душу все переживания! Очень мне не нравился один гимназист, на два класса моложе меня, Щербаков

Александр. Знаком я с ним не был. Но неистово ненавидел в нем всё: как он ходил,—очень, мне казалось, гордо; как смотрел на меня,—ужасно высокомерно. Был лупоглазый какой-то и вообще противный. Главное, никак нельзя было понять,—чем ему передо мной гордиться? По классам он был меня моложе, ростом не выше (даже чуть-чуть ниже), учился средне, на сшибалке совсем плохо сшибался. И был не князь, не граф: отец его держал железную лавку внизу Острожевской улицы,—просто, значит, был сын купца. Подумаешь! Что у них свой дом на Ново-Дворянской? Так и у нас на Верхне-Дворянской свой дом, еще даже лучше ихнего.

Все, что он делал, он делал, казалось мне, нарочно и мне назло. Стоило мне случайно увидеть его в гимназии или на улице,— и весь мой остальной день был отравлен воспоминанием о нем. На его глазах я из кожи лез, чтоб отличиться; больше бы не мог стараться, если бы смотрела сама Маша Плещеева. На сшибалке, например, когда он подходил и смотрел; молодецки сшибаю одного за другим, продвигаюсь вперед, украдкой взгляну на него,—а он уж равнодушно идет прочь, ничуть не прельщенный моими подвигами.

Раз у нас оказался пустой урок, а их класс был рядом с нашим. От нечего делать, я смотрел в дырочку дверного замка. Вижу, вызвал учитель Щербакова. Он путает, краснеет,—урока не знает! Я злорадно следил за ним, как он сел, бледный, взволнованный, а учитель со зловещей улыбкой поставил ему в журнал,—уж, конечно, не больше двойки. После уроков, в раздевалке, я столкнулся с Щербаковым лицом к лицу и весьма иронически поглядел на него. А он,— он окинул меня тем же высокомерно-равнодушным взглядом и прошел мимо.

Весь вечер я с сосущей болью думал о нем и мечтал: так вознесусь, что и он, наконец, взглянет на меня с почтением. Во главе победоносных войск, на белом коне, в'езжаю в Тулу. Граф Стамбульский, светлейший князь Смидович-Всегерманский! Взял Константинополь, завоевал всю Германию! Совсем еще молодой, а на плечах—генеральские эполеты с золотыми висюльками, на шее боль-

шой белый крест Георгия первой степени, правая рука на черной перевязи. Гремит музыка, склоняются знамена, «ура!!» И в толпе смотрит Щербаков. Я презрительно окидываю его взглядом и проезжаю мимо.

Мы как будто получали воспитание демократическое, папа и мама не терпели барства, нам очень часто приходилось слышать фразу: «подумаешь, какой барин!» К горничной нам позволялось обращаться только за самым необходимым. Но, должно быть, общий уж дух был тогда такой,—барство глубоко держалось в крови.

Папа несколько раз пытался завести, чтобы мы сами убирали свои постели и вообще свои комнаты. Но ничего не выходило. Во-первых, все утром спешили в гимназию, еле даже успевали чаю напиться. Но главное,—совершенно было невозможно сломить упорного внутреннего сопротивления, какое мы этому оказывали. «Сам себе стелет постель!» Идет по улице гимназист четвертого класса,—четвертого уже класса!—и если бы знали прохожие: «он сам себе сегодня стелил постель!» А уж ночную посуду самому за собою вынести,—это был бы такой позор, которого никак нельзя было бы перетерпеть. Даже если бы в это время никого не было во всем доме,—перед самим собою было бы стыдно и позорно!

Иногда, когда выяснялись непомерно большие траты по дому, у нас начинала во всем проводиться экономия. К утреннему и вечернему чаю нам выдавали только по четвертушке пятикопеечной французской булки, а там, если голоден, ешь черный хлеб. Черный хлеб был румяный, вкусный филипповский хлеб (в Туле у нас было отделение московской филипповской булочной). Но все-таки после белого было невкусно, а главное,—если бы знали: «этот гимназист ест за чаем только маленькую четвертушечку белого хлеба, а остальное, как дворник, доедает черным хлебом!» Или: «идет в сапогах, которые сам себе начистил». Щербаков Александр, например,—если бы знал!

За дом от нас, пересекая нашу Верхне-Дворянскую, шла снизу Старо-Дворянская улица. На ней, кварталом выше нас, стоял на углу Мотякинской старенький серый домик с узкими окнами наверху и маленькими, квадратными окнами на уровне земли. Здесь жила наша бабушка, мамина мать, Анисья Ивановна Юницкая, с незамужнею своею дочерью, маминой сестрою, Анной Павловной,—тетей-Анной.

Домик бабушки стоял на границе культурной части города. Около домика кончалась на Старо-Дворянской мостовая, кончалось освещение. Дальше улица была немощеная, заросшая гусиной гречей, пересекалась большим оврагом, где под доской, переброшенной для пешеходов, в черной тинистой воде извивались жирные пиявки. А за оврагом было поле. Осенью в этих местах была непролазная грязь, а ночью в жуткой темноте не светилось ни одного огонька... Ох, страшна эта уличная темнота! Ничего в детстве я не знал страшнее. Особенно там, за бабушкиным домом, где в черной темноте овраг с пиявками, а в углублении каждой калитки, наверное, прячется жулик.

Домик бабушки был очень ветхий, и все надворные постройки—такие же: тес серый, почти черный, от старости покоробился лодочкою. В глубине заросшего двора—очень глубокий колодезь и покосившийся флигелек, за двором—сад, сплошь фруктовый и ягодный; ягоды у бабушки были очень большие, яркие и жирные,—и клубника, и малина, и смородина, и крыжовник. Яблони и груши—старые, развесистые.

Бабушка—сухая старушка, серьезное лицо с поджатыми губами светится хорошим старческим светом. Она ужасно всегда боялась кого-нибудь стеснить собою, доставить лишнюю работу или беспокойство. Раз она тяжело заболела крупозным воспалением легких, была почти при смерти. Разослали телеграммы сыновьям: один хозяйничал в своем рязанском именьице, другой служил акцизным в Ефремове, младший, пехотный офицер, стоял с полком в Польше. А бабушка взяла, да в два дня и выздоровела. Взволнованная, сконфуженная, она выходила навстречу каждому из приезжавших сыновей и говорила виновато:

— Ты прости меня... Я поправилась!

Это серьезнейшим образом. Долго потом все с любовным смехом вспоминали, как бабушка выходила к сыновьям и извинялась, что не умерла.

Была очень добрая. Жила, во всем себя ограничивая, и помогала направо и налево. В подвальном этаже дома и в надворном флигеле жила беднота, платила плохо, а часто и совсем не платила, иногда годами. Ну, что тут поделаешь! Не выгонять же их на улицу! На именины бабушки в большом количестве являлись плохо одетые старушки с льстивыми глазами, отставные мелкие чиновники с красными носами. Пили апельсиновую водку, ели пирог с капустой и рассказывали о разных своих злоключениях. Несколько лет под ряд являлся здоровенный детина в форме сербского добровольца, с рукою на черной перевязи. Меня удивляло, что иногда за едою он вдруг очень свободно начинал работать раненною своею рукою.

Прислуга у бабушки жила не такая, которая знала свое дело, а которая была очень несчастная. Кухаркой служила бывшая наша молодая няня, Катя. Она была даровитая девушка, выучилась у нас говорить по-немецки, читать и писать. Вышла замуж за нашего кучера Петра. Он вскоре спился и был крючником на Волге. Иногда вдруг являлся, жил на хлебах у жены, пьянствовал, бил ее зверски и, обрюхатив, исчезал. Всегда она была беременная, больная, задыхающаяся, с кучей ребят. Работала усердно, но сил было мало. Смешно было подумать, чтоб бабушка могла ей отказать; куда же она денется?

Дворником был дурачок Петенька. Лет под сорок, редкая черная бороденка, очень крутой и высокий лоб уродливо навис над лицом. Говорил косноязычно и в нос, понимать было трудно. Самую черную работу он еще мог делать,—рубить дрова, копать землю в саду, но уж поручить ему печку протопить было опасно,—наделает пожару. И опять: как такому отказать? Куда он денется?

Однажды Петр, Катин муж, пьяный, долго и жестоко колотил Катю, потом тут же в кухне, сидя, заснул, положив голову на стол. Петенька решил избавить Катю от этого зверя. Взял полено,

подкрался и с размаху ударил Петра по голове. Петр вскочил, бросился на Петеньку, Петенька испугался и убежал, а Петр с залитым кровью лицом опять заснул.

Бабушка потом говорила Петеньке:

— Как же это ты так, Петенька? Ты—маленький, он—большой и сильный, а ты его вдруг поленом. Ведь он бы тебя убить мог.

И Петенька рассказывал всем своим бормочущим, гнусавым голосом:

— Бабушка мне сказала: он большой, а ты его маленьким поленом убить хотел. Побольше нужно было взять!

У бабушки доброта была гармоничная и умиляла. У жившей с нею тети-Анны доброта эта переходила всякие пределы и больше раздражала.

Вот—праведница, которая, умирая, наверное, молилась об одном: чтобы ей в аду было присуждено место не слишком горячее. И Христос сказал бы ей на страшном суде: ты губила душу свою и тем спасла ее!

Худая, с птичьим личиком, но с не-птичьими, медленно-степенными движениями. Она была учительница музыки, у нее учились музыке сестры и все наши знакомые барышни. За уроками лицо ее было строго, серьезно и торжественно. Но учительница она была очень плохая. Всем ее ученицам, сколько-нибудь способным, приходилось потом переучиваться; чуть ли не на второй или третий год ученики ее уже начинали отхватывать Бетховена и Шопена. У нее самой рояль был плохенький, рыжего цвета, и звучал, как слабо натянутый барабан. Я никогда не слышал, чтоб она сама что-нибудь играла,—только кадрили и польки, когда мы танцовали.

Всегда она была в хлопотах. Всегда у нее было какое-нибудь ужасно бедное семейство, которое нужно было накормить, ужасно несчастный человек, которого нужно было пристроить. Она обходила знакомых, собирала деньги, выпрашивала место. Собранные деньги главою несчастного семейства пропивались; несчастный человек,

получивший место, оказывался прохвостом или пропойцей. И уже давно никто не верил рекомендациям тети-Анны.

Несчастие другого человека не давало ей покою, не давало жить. Вернее даже не так, а вот как: свою жажду помощи ее тянуло утолить с тою же неодолимою настойчивостью, с какою пьяницу тянет к вину. Знает, что денег не пожертвуют:

— Дайте мне взаймы двадцать рублей. Через три дня я получу в женском епархиальном училище за уроки музыки,—отдам.

— Ну, смотрите,—только на три дня даю! Если не отдадите, поставите меня в безвыходное положение.

— Ну, конечно же, отдам!

И не отдавала. Не потому, что не хотела, а не донесла. Встретилось новое горе,—и отдала туда. Резкие письма с упреками и прямыми оскорблениями, грозные требования, тяжелые об'яснения с клятвами сейчас же отдать при первой возможности, озлобленно-виноватые глаза, боязнь встретиться на улице... А завтра опять то же самое. Вся она была в долгах, все у нее было заложено, ростовщикам платила ужасные проценты. Раз зашел у нас разговор, кто бы что сделал, если бы выиграл двести тысяч (частые везде у нас разговоры,—приятно помечтать о богатстве, когда выигрышный билет делает богатство возможным). Тетя-Анна с загоревшимися глазами заявила, что она открыла бы тогда... кассу ссуд! Все изумились, а тетя-Анна горячо стала доказывать, что это было бы самым большим благодеянием для бедняков,—давать под залог деньги из десяти-двенадцати процентов в год. Сколько же процентов она, бедная, платила сама!

При жизни бабушки ей все-таки приходилось несколько сдерживаться. Но когда бабушка умерла, и домик перешел в ее владение, тетя-Анна совсем запуталась. Домик сейчас же был заложен, потом перезаложен. Деньги немедленно уплыли. А заработок ее все уменьшался. Появились новые учительницы музыки, более молодые и талантливые, уроков все становилось меньше.

Тетя-Анна решила открыть учебное заведение для мальчиков и девочек. Родные и друзья ссудили ее на это деньгами. Открыла. В учительницы были набраны не возможно лучшие, а самые не-

счастные, давно сидевшие без места. В ученики столько было напринято даровых, что и богатая школа не выдержала бы. Конечно, через год-два пришлось дело прикрыть, и оно еще больше прибавило долгов.

Под конец жизни тетя-Анна жила в большой нужде в своем доме, приходившем все в большее разрушение. Сарай грозил обрушиться, подгнившие переметы еле держались. Но тетя доказывала, что это не опасно; дверь открывается внутрь и поддержит перемет, если он обвалится в то время, когда в сарае человек. Помогать ей было так же трудно и бесплодно, как запойному пьянице. Пошлешь ей к пасхе пятьдесят рублей. Ответ: «Милый Витя! Большое тебе спасибо за присланные деньги. На рубль я купила себе кулич, пасху, яичек, и разговелась. Пять рублей дала разговеться на праздники Козловым. Купила башмаки Лидочке Лочагиной,—они у ней совсем дырявые, и она постоянно простужается», и т. д. в таком же роде. Кончалось: «Вот видишь, скольким людям ты доставил радость присланными деньгами».

Меня это, признаюсь, нисколько не радовало.

Учителем математики у нас был Глаголев, Геннадий Николаевич. На длинных, тощих ногах; ходил, ступая носками прямо, и странно подпрыгивая на ходу; каштановая борода и умные черные глаза. У него был верхушечный процесс, и он часто покашливал особенным каким-то образом, вздергивая голову вверх, растягивая звук кашля и вдруг обрывая его более низкой нотой. Когда мы, мальчишки, изображали его, то обязательно с этим кашлем.

Был у меня товарищ Бортфельд Александр,—лихой парень, забияка; он потом, не кончив курса, поступил в кавалерийское училище и вышел в гусары. Раз, во время урока математики,—были мы тогда в четвертом классе,—Бортфельд дерзко стал передразнивать Геннадия Николаевича самым откровенным образом: Глаголев ходил по классу, об'ясняя урок, и то и дело:

— Кха-ха-а̀!



И сейчас же вслед за ним, с таким же подергиванием головы и Бортфельд:

— Кха-ха-à!

Весь класс, изумленный лихою дерзостью Бортфельда, настороженно ждал, что будет. Генадий Николаевич замолчал и раза два прошелся по классу.

— Бортфельд!

Бортфельд медленно поднялся, готовый к бою.

— Я человек больной, Бортфельд. У меня хроническое воспаление легких, поэтому мне часто приходится кашлять. Я никак не могу понять, что вы находите в этом забавного, и какое вам может доставлять удовольствие передразнивание моего кашля.

Бортфельд плаксивно-возмущенным голосом начал:

— Что же это такое, и кашлянуть нельзя в классе, я не могу сдержать кашля, у меня самого...

— Бортфельд, пожалуйста, оставьте все это! Я вас не собираюсь ни наказывать, ни тащить к инспектору... Если вам это нравится,— продолжайте! Пожалуйста!

Он презрительно пожал плечами и стал продолжать об'яснение урока. Бортфельд сел на место, как оплеванный. И показался мне вдруг лихой этот парень пошлым и совершенно непривлекательным болваном.

У этого же Геннадия Николаевича Глаголева был обычай вызывать к отвечанию урока всегда самых плохих учеников. Хороших он тревожил редко и только тогда, когда урок был особенно трудный. Часто бывало даже, что хорошему ученику он выводил за четверть общий балл, ни разу его не спросив.

В четвертом классе. Первый урок геометрии. Геннадий Николаевич об'яснил, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, что круг есть то-то, а треугольник то-то. Дома я просмотрел урок,—что ж тут учить? Все само собою понятно.

На следующий день, только что Геннадий Николаевич сел за учительский стол, вдруг:

— Смидович!

Я изумился: был я первый ученик и совершенно не привык, чтоб меня тревожили по пустякам. Вышел к доске.

— Скажите,—что такое круг?

Я помолчал, взглянул на Геннадия Николаевича и широко ухмыльнулся: очевидно, Геннадию Николаевичу вздумалось пошутить, и я, конечно, сразу понял, что это шутка.

— Отчего вы не отвечаете?

Я смешался, пожал плечами и, глупо улыбаясь, мелом нарисовал на доске круг.

— Вот круг.

Глаголев строго и раздельно сказал:

— Я вас спрашиваю,—что такое круг? Не знаете?

Я растерянно молчал.

— Ну, можете итти.

Он обмакнул перо в чернильницу, протяжно кашлянул, дернув головою, и поставил мне в журнале огромнейший кол. Невероятно! Не может быть!.. В жизнь свою я никогда еще не получал единицы. Уже тройка составляла для меня великое горе.

Стыдно и теперь вспомнить, что разыгралось. Я заливался, захлебывался слезами, молил Геннадия Николаевича зачеркнуть единицу, вопил так, что в дверное окошечко обеспокоенно стали заглядывать классные надзиратели. И было это уже в четвертом классе! Правда, мне тогда было всего двенадцать лет. Конечно, Глаголев остался тверд, и единицы не зачеркнул.

Когда я был в младших классах гимназии, директором у нас был Александр Григорьевич Новоселов,—немножко я об нем уже писал. Маленький, суетливый, с крючковатым носом и седыми бачками, с одного виска длинные пряди зачесаны на другой висок, чтоб прикрыть плешивое темя; рысьи глазки злобно и выглядывающе поблескивают через золотые очки. В дверях каждого класса, на высоте человеческого роста, у нас были прорезаны маленькие оконца

для подглядывания за учениками. Новоселов очень любил подглядывать, но был маленького роста и мог глядеть в оконце, только поднявшись на цыпочки и задравши нос. Когда мы из класса замечали за стеклом оконца крючковатый нос и поблескивающие золотые очки, трепет пробегал по классу, все незаметно подтягивались, складывали перочинные ножи, которыми резали парты, засовывали поглубже в ящики посторонние книжки.

Последнее мое воспоминание об этом директоре такое.

Должен был приехать в Тулу министр народного просвещения Сабуров. Уж за неделю до его приезда Новоселов во время уроков заходил в классы и учил нас, как держаться перед министром, что ему отвечать.

— Руки держите вдоль корпуса, вот так! Стойте прямо, глядите в глаза господину министру! Когда он вам скажет: «Здравствуйте!» то хором, все сразу, отвечайте: «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!» Ну, вот, я вам, как-будто г. министр, говорю: «Здравствуйте, дети!»

И, вытянувшись, как солдаты, мы галдели хором:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

В душе были злорадство и смех,—мы отлично видели: этот грозный Новоселов трусит,—да, да, трусит министра! Одним боком—страшный, а другим—смешной и боящийся.

И, наконец,—приехал министр. Вдали—суетня, хлопание дверей. А в классах везде—тишина. Учителя—еще бледнее и испуганнее, чем мы, сейчас они с нами вместе—под'ответственные школьники, уроки выслушивают невнимательно, глаза прислушивающеся бегают.

Громкий, властный топот шагов. Все ближе. Двери настежь. Вошел министр. Высокий, бритый, представительный, за ним—попечитель Капнист, директор, инспектор, надзиратели. Министр молча оглядел нас. Мы, руки по швам, выпучив глаза, глядели на него.

Он сказал:

— Ну, вам мне особенного говорить нечего. Все, что нужно, я сказал господам преподавателям... Прощайте.

Мы в ответ дружно гаркнули:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!

Министр с недоумением оглядел нас и покраснел. Когда он выходил из класса, Новоселов отстал, обернулся и с злобным упреком сверкнул на нас стеклами своих очков.

Когда я был в пятом классе, прежнего директора сменил новый,—Николай Николаевич Куликов. Этот был совсем другой. Высокий, представительный, с неторопливыми движениями, с открытым благожелательным лицом. И время становилось как-будто другим. Был 1880 год, во главе правительства стоял Лорис-Меликов. Министра народного просвещения, всеми проклинаемого гр. Д. А. Толстого, сменил Сабуров,—тот самый, о котором я сейчас рассказывал. В нашей гимназии, в беседе с нашим начальством, он решительно высказался против принудительного хождения учеников в церковь,—это, по его мнению, только убивает в учениках всякое религиозное чувство. Начальство было поражено и прямотаки не посмело исполнить его распоряжения,—мы продолжали обязательное посещение гимназической церкви. От нового нашего директора веяло тем же новым духом.

На гимназическом акте он сказал речь к собравшимся родителям учеников, часто и красиво повторяя в ней:

— Мы—к вам, вы—к нам!

А потом произнес речь о Пушкине, четко и певуче читал стихи Пушкина, и чувствовалось, как сам он наслаждался их музыкой:

Поэт! Не дорожи любовию народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум,
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься нем, спокоен и угрюм...

Года через два-три, когда я прочел Писарева, я был преисполнен глубокого презрения к Пушкину за его увлечение дамскими ножками. Но я вспоминал волнующие в своей красоте пушкинские звуки, оглашавшие наш актовый зал,—и мне смутно начинало ка-

заться в душе, что все-таки чего-то мы с Писаревым тут не дооцениваем, несмотря на все превосходство нашего миросозерцания над пошлым образом мыслей Пушкина.

Обращение Куликова с гимназистами было для нас совершенно невиданое. Обнимет какого-нибудь ученика и ходит с ним по коридору, и разговаривает. Когда я был в шестом классе, три моих товарища,—Мерцалов, Буткевич и Новиков,—попались в тяжком деле: раздавали революционные прокламации рабочим тульского оружейного завода. При Новоселове их, конечно, немедленно бы исключили с волчьими паспортами. Куликов выставил дело, как ребяческую шалость. Виновные отделались только тем, что отсидели в карцере по два часа в день в течение месяца, и раз в неделю должны были ходить на душеспасительные собеседования с нашим законоучителем, протоиереем Ивановым, который текстами из библии и евангелия доказывал им безбожность стремлений революционеров.

Воспоминание о себе Куликов оставил у нас хорошее. У меня в памяти он остался, как олицетворение краткой лорисмеликовской эпохи «диктатуры сердца». Года через два Куликов ушел со службы. Не знаю, из-за либерализма ли своего, или другие были причины. Слышал, что потом он стал драматургом (псевдоним—Н. Николаев), и что драмы его имели успех на сцене. Он был сын в свое время известного водевилиста и актера Н. И. Куликова.

Я был самый молодой и самый маленький в классе. И всегдашнее воспоминание мое о классной жизни—чувство неограждeнности от обид, зависимости от настроения духа любого сильного дурака. Помню, случилось это, когда я был в пятом классе. Мне было тринадцать лет, а большинство товарищей уже говорило полубасом, а некоторые и брились. Почему-то не взлюбил меня один из одноклассников,—Шенрок Владимир, очень худой и длинный, с красными веками и скользкой, увилистой улыбкой. Ни с того, ни с сего вдруг толкнет плечом так, что отлетишь на три шага; а он идет дальше

с самым невинным видом. Или шагает сзади и нарочно старается наступать носками па задки моих сапог (в то время ботинок не носили, а даже при брюках на выпуск носили сапоги с тонкими и невысокими голенищами). Обернешься, сердито скажешь:

— Что ты на меня наступаешь?

Он улыбается своею неприятною улыбкою и молчит. Идешь дальше,—он опять наступает носками на пятки, обрывая брюки.

Раз перед началом последнего урока я с одушевлением рассказывал своим соседям по парте про Святослава, князя Липецкого («Исторические повести» Чистякова,—чудесная книга!). Я из этих повестей мог жарить наизусть целые страницы.

— «Наши столпились у ворот укрепления. Святослав стоял впереди с огромным бердышем. Одежда его была вся изорвана, волосы всклокочены; руки по локоть, ноги по колено в крови; глаза метали ужасный блеск. Татары, казалось, узнали его и хлынули, как прорванная плотина.—«Умирать, братцы, всем! Славно умирать!»—крикнул он, бросился в гущу татар и начал крошить их своим страшным оружием...»

Вдруг вижу: через две скамейки спереди, по партам, вытаращив глаза, ползет на четвереньках Шенрок. Протянул длинную свою руку, схватил меня за волосы, больно дернул в одну сторону, в другую, и воротился к себе. Вошел учитель.

Весь урок я волновался, думал,—как отомстить Шенроку, как защитить себя. Дальше так продолжаться не могло. Кончился урок. Ученики, с ранцами на плечах, выходили из класса. Я свой ранец оставил на скамейке, разбежался и изо всей силы ударил обоими кулаками Шенрока в ранец (в ранец! Хоть бы в спину!). Он обернулся, вытаращил круглые свои глаза и с серьезным, неулыбающимся лицом сложил свой ранец на скамейку. Я стоял, сжав кулаки. Шенрок бросился на меня. В памяти у меня осталось впечатление от железных рук, охвативших меня, боль от тяжелого удара по голове, отчаянный мой вопль... Пришел я в себя на извозчике,—гимназический сторож отвозил меня домой. Он рассказал мне, что бил меня Шенрок долго и жестоко, что гимназисты и сторожа еле отняли меня от него.

Шенрока исключили из гимназии. Отец его был лесничий, хорошо был знаком с папой. Мать его от этой истории заболела с огорчения. А мальчик злобно заявлял, что, когда он теперь со мною встретится, то расправится уж не так. Страшный этот возраст мальчиков между 14 и 16 годами: в эти годы как-будто все черти в душе срываются с цепей, а все добрые гении сконфуженно отлетают прочь. Две недели родители не пускали меня в гимназию,—боялись, чтоб меня где-нибудь не подстерег Шенрок.—Вскоре его родители увезли его из Тулы.

Очень меня тоже обижал Марчевский Михаил. Раз этого самого Марчевского здорово потрепал силач нашего класса, Кулин Василий. Схватил его за шиворот, наклонил под прямым углом лицом вниз и так стал водить по всему классу. Мне ужасно приятно было смотреть на такое унижение моего всегдашнего обидчика. Я прыгал вокруг и злорадно хохотал. Кулин, наконец, отпустил Марчевского. Марчевский выпрямился—с красным лицом и злыми, униженными глазами,—кинулся на меня и обоими кулаками ударил в живот. Я покатился под парту и долго лежал, стараясь вздохнуть, и никак не мог. С трудом отдышался.

Папа очень любил повторять такие стихи (кажется, Федора Глинки):

Чтобы жить было легко
    И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
    А голову низко.

Очень он еще любил и часто повторял языковское переложение одного псалма:

Кому, о, господи, доступны
Твои Сионски высоты?
Тому, чьи мысли неподкупны,
Чьи целомудренны мечты,

Кто дел своих ценою злата
Не взвешивал, не продавал,
Не ухищрялся против брата
И н а в р а г а не клеветал...

— Именно,—*мысли* неподкупны, целомудрены *мечты*! Кто *на врага своего* не клеветал! Это невеликая заслуга,—быть неподкупным и целомудренным на деле, не клеветать на своего друга. Будь даже в мыслях неподкупен, будь целомудрен в самых своих тайных мечтах, не клевещи даже на самого твоего жестокого врага,—вот тогда ты, действительно, достоин приблизиться к богу.

Анекдоты он любил рассказывать такого рода:

Один англичанин решил разобрать у себя в саду кирпичную стену, остаток прежней оранжереи. Сын его просил сделать это непременно при нем. Отец дал ему слово. Но, когда пришли рабочие, он забыл про свое обещание, и стену разобрали в отсутствие сына. Сын напомнил отцу про данное ему слово. Тогда отец велел опять сложить стену и разобрать ее в присутствии сына. Отцу говорили:

— Какая нелепость! Какой бессмысленный расход! Может же мальчик понять, что тут не было злого умысла, что отец просто забыл.

Англичанин ответил:

— Пусть лучше я потерплю убыток, но пусть мой сын знает: нет таких причин, которые бы могли оправдать нарушение раз данного слова!

Очень меня раз папа удивил,—такой он высказал неожиданный взгляд по вопросу, для меня совершенно бесспорному, во всех Майн-Ридах решавшемуся совершенно одинаково. Я однажды сказал брату:

— Месть—благородное дело!

Папа услышал.

— Месть—благородное дело? Друг мой! Мстят—лакеи! В мщении всегда заключено что-то глубоко лакейское, оно всегда страшно унижает того, кто мстит.

Несколько десятков лет уже прошло с тех пор. И только теперь я соображаю, как упорно и как незаметно папа работал над моим образованием, и как много он на это тратил своего времени, которого у него было так мало.

Когда я был в пятом классе, папа предложил мне прочесть вместе с ним немецкую книгу «Richard Löwenherz»,—переложение вальтер-скоттова романа «Айвенго». Красивая книга с великолепными раскрашенными картинками: турнир с опрокинутыми на песок железными рыцарями, красавица-блондинка возлагает лавровый венок на голову преклонившего колена рыцаря, красавица-брюнетка готовится выброситься из окна перед наступающим на нее рыцарем-тамплиером. Мы с детства знали немецкий язык, у нас всегда были немки. Но, когда подросли, начали забывать язык. И вот, папа предложил мне читать с ним по вечерам немецкую книгу и сказал, что когда мы ее всю прочтем, он мне даст три рубля. Три рубля! У меня дух захватило от такой огромной суммы. Способности у меня были очень хорошие, память великолепная, гимназические уроки я готовил легко и быстро, времени свободного было достаточно.

И вот каждый вечер, часов в девять, когда папа возвращался с вечерней практики, мы усаживались у него в кабинете друг против друга на высоких табуретках за тот высокий, двухскатный письменный стол-кровать, о котором я рассказывал. Я читал и отыскивал в словаре незнакомые слова, папа их записывал в тетрадку. К следующему дню я должен был эти слова выучить,—и чтение это начиналось с того, что папа у меня спрашивал слова. Потом читали дальше. И здесь опять папа с напряженнейшим интересом следил за подвигами таинственного рыцаря с опущенным забралом, за любовью Дю-Буа-Жильбера, за силачом Фрон-де-Бефом.

Он садился на свою табуретку и, потирая руки, говорил:

— Ну-ка, ну-ка, как у Дю-Буа-Жильбера пойдет дальше с этою Ревеккою?

Я вполне был убежден,—папа читает со мною, потому что и ему самому все это было ужасно интересно. А теперь я думаю,

сколько своего времени он отдавал мне,—и как незаметно, так что я даже не мог к нему чувствовать за это благодарности!

Кажется, чуть не год целый мы читали книгу. Последние две страницы. Кончили, наконец. Я уж собирался получить долгожданные, с таким трудом заработанные мною три рубля. Но тут папа совершил некоторое предательское,—для него совершенно необычное,—нарушение договора. Он потребовал, чтобы я сдал ему еще все выписанные при чтении в тетрадку слова, и не два-три десятка слов одного урока, а все слова сразу! Их было тысячи две. И я этот кунштюк преодолел,—сдал все слова: папа спрашивал меня,—то с немецкого на русский, то с русского на немецкий, и слова, которые я знал, вычеркивал из списка, остальные я должен был сдать еще раз. Все слова я сдал в три приема,—и только тогда, наконец, получил мои три рубля.

По Тульской губернии у нас много жило родственников-помещиков,—и крупных, и мелких. Двоюродные дедушки и бабушки, дядья. Смидовичи, Левицкие, Юницкие, Каширипиновы, Гофштетер, многочисленные их родственники. Летом мы посещали их,—чаще всего с тетей-Анной. Мама была домоседка и не любила выезжать из своего дома. Тетя-Анна все лето раз'езжала по родственникам, даже самым дальним, была она очень родственная.

Прежде всего встают в воспоминании: полевые просторы, медленные волны по желтеющим ржам, пыльная полынь и полевая рябинка по краям дороги, прыгающие перед глазами крупы лошадей, облепленные оводами. И запах луговых цветов, конского пота и дегтя,—этот милый запах летней дороги. И вольный, теплый ветер в лицо.

Потом помнятся усадьбы дворянские. Разные: одни с просторными комнатами и блестящими полами, широкие каменные террасы, заросшие диким виноградом, липовые аллеи и цветники; другие усадьбы—с маленькими домиками, крытыми тесом, с почерневшими и шаткими деревянными террасами, с дворами, густо заросшими

крапивою. Но везде одинаково—ощущение своего барственного происхождения и непохожести своей на мужиков.

Я родился через шесть лет после освобождения крестьян,—значит, крепостного права не застал. Но когда вспоминаю деревню в мои детские годы, мне начинает казаться, что я жил еще во время крепостного права. Весь дух его целиком еще стоял вокруг.

Едем в тарантасе по дороге. Мужики в телегах сворачивают в стороны и, когда мы проезжаем мимо, почтительно кланяются Это вообще, все встречные мужики, которые никого из нас даже не знали,—просто потому, что мы были господа. К этому мы уж привыкли и считали это очень естественным. И, если мужик проезжал мимо нас, глядя нам в глаза и не ломая шапки, мне становилось на душе неловко и смутно, как-будто это был переодетый мужиком разбойник.

И когда я жил у наших родственников-помещиков, я всегда чувствовал это почтительное отношение к себе мужиков и дворни. Звали «барин», смотрели ласковыми глазами, умиленно улыбались на мои ребяческие выходки. А тут же рядом, если то же самое сделает их собственный мальчишка,—грубый окрик или подзатыльник. Создавалось ощущение, что я сам по себе какой-то очень хороший, что мы особенная порода, не то, что эти мальчишки с сопливыми носами и вздутыми, как шары, животами, в грязных холщевых рубашках, пахнущих дымом. Я, конечно, был великодушен и снисходителен, разговаривал с ними, играл. Но и они меня искренно считали каким-то как бы высшим существом, и я так же искренно считал их существами низшими. Все они были очень милые,—и ребятишки, и бородатые их отцы, и рано постаревшие матери, но, конечно, все они стояли где-то там, далеко внизу, и была к ним нежно-задумчивая, приятная душе жалость.

Но часто случалось,—вдруг это самопочитание начинало колебаться и уплывать, и охватывал стыд за себя, и я казался себе ниже стоящим и презренным. Это было во время работ: когда длинною цепью косцы двигались по лугу, жвыкая косами, в крепком запахе свеже-срезанной травы, или когда сметывались душистые стога, под шуточки парней и визги девок, или в золотисто-полу-

темной риге, под завывание молотилки, в веселой суете среди пыли и пышных ворохов соломы. Все—загорелые, пахнущие здоровым потом, исполненные величавой какой-то надменности и презрительности к неработающим. В чистенькой своей рубашечке, с безмозольными руками, я с завистью и подобострастием глядел на них, и было чувство щемящего какого-то одиночества, отчужденности,—недостойности своей быть с ними наравне. За работами наблюдал дядя в парусиновом пиджаке или тетка в синей блузе. Мне казалось, что и на их лицах я в такие минуты читаю то же чувство некоторой приниженности и конфуза. И вдруг странно становилось: этот толстый, неработающий человек в парусиновом пиджаке,—ему одному принадлежит весь этот простор кругом, эти горы сена и холмы золотистого зерна, и что на него одного работают эти десятки черных от солнца, мускулистых мужчин и женщин.

Отрочество, это тот хороший возраст, когда хорошую книгу хочется перечитать десять, двадцать раз, когда с каждым разом читать ее все приятнее. Мне счастье было, у нас много было хороших книг своих, их не нужно было на две недели брать из библиотеки и спешить прочесть, они всегда были под рукою. У брата Миши был подарочный Лермонтов, у меня накопились подарочные Гоголь, Кольцов, Никитин, Алексей Толстой, Помяловский. Накопил денег и купил себе полного Пушкина. У папы были подаренные ему пациентами сочинения Тургенева Некрасова (хорошее четырехтомное издание с подробнейшими примечаниями,—я такого потом нигде не встречал). Этих писателей я читал и перечитывал, знал наизусть множество стихов, знал наизусть и целые куски прозы, например:

> Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человек только осталось от всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки...

Или из «Записок охотника», как состязуются певцы, и как в воздухе, наполненном тенями ночи, звучит далекое: «Антропка-а-а!» И много еще. Но не было у нас Льва Толстого, Гончарова, Достоевского, не было Фета и Тютчева. Их я брал из библиотеки, и они не могли так глубоко вспахать душу, как те писатели, наши.

Постоянно были у меня на столе,—тоже кем-то подаренные папе,—издания Гербеля: «Русские поэты в биографиях и образцах», «Немецкие поэты», «Английские поэты»,—три увесистых тома. Откроешь наудачу и читаешь,—сегодня Баратынского или Клюшникова, завтра Ленау или Аду Кристен, там—Теннисона или Крабба. Незаметно, камушек за камушком, клалось знакомство с широкой литературой.

Я родился и вырос в Туле,—она входит в район московского говора, в район образцового русского языка. Казалось бы, язык у меня естественно должен быть хорошим. Но этого нет. Особенно с ударениями плохо. Всю жизнь приходилось отвыкать от неправильных ударений. Бояры́шник, о̀льха, взбе́шенный, новоро́жденный. Причина вот какая: в живом общении с людьми, из живой речи усвоена была только очень небольшая часть словесного запаса. Остальное было воспринято из немого чтения книги в одиночку. Мы росли сначала—на плохом литературном языке детских рассказов, потом—на хорошем литературном языке классиков.

Мы были знакомы с Козеровскими и раньше.

Мать их, Мария Матвеевна Козеровская, держала лучшую в Туле частную школу и пансион. Школа готовила мальчиков и девочек к вступлению в казенные учебные заведения, репетировала живших пансионерами тут же, при школе, реалистов и гимназисток. У Козеровских был обширный дом на углу Старо-Дворянской и Площадной улиц. Марии Матвеевне помогали в занятиях по школе

три ее девушки-сестры. Муж ее, бывший инспектор народных училищ, тоже преподавал в школе, был ее инспектором и грозою для мальчиков, не подчинявшихся женскому руководству.

Мы встречались с Козеровскими по праздникам на елках и танцовальных вечерах у общих знакомых, изредка даже бывали друг у друга, но были взаимно равнодушны: шли к ним, потому что мама говорила,—это нужно, шли морщась, очень скучали и уходили с радостью. Чувствовалось,—и мы им тоже неинтересны и ненужны.

На святках 1880—1881 года был танцовальный вечер у кого-то из знакомых. Были мы, были три старшие девочки Козеровских,—Люба, Катя и Наташа. Я пригласил Катю на вальс. В то время вальс танцовали не в три, а в два па,—это давало очень быстрое кружение. Не со всеми танцуется одинаково; с некоторыми бывает особенно как-то ловко и ладно танцовать,—когда без перебоев, легко и вольно кружится пара, как-будто движимая одною волею. Так оказалось с Катею. Она была рыжая, я к ней по этому поводу испытывал некоторое снисходительное сострадание. Но так было приятно с нею танцовать, что я то-и-дело стал подходить к ней. И вдруг увидел, чего раньше не замечал,—что она поразительно хорошенькая! Милое, матово-белое, легко краснеющее лицо, лукавые глаза и совсем какая-то особенная, медленная улыбка. И глаза эти приветливо уже смеялись мне навстречу, когда я уверенно подходил к Кате и кланялся. Она вставала, я обнимал ее тонкий стан подростка, она клала свою ручку на мое плечо,—и мы начинали кружиться по паркету. Опьяняло душу это наслаждение быстрого, беструдного и слитного кружения, похожего на совместный полет в ритмически-колеблющихся, музыкальных пространствах.

Да! Как же я раньше этого не замечал? Удивительно милая. Мы сидели рядом, весело разговаривали, смеялись. Удивительно милая. И к лицу ее больше всего идут именно рыжие волосы,—только не хотелось употреблять этого слова «рыжий». Густая, длинная коса была подогнута сзади и схвачена на затылке продолговатою золотою пряжкой. Это к ней очень шло. Я это ей сказал: как-будто золотая рыбка в волосах, и сказал, что буду ее называть «золотая рыбка».

Катя была вторая из сестер, на три года моложе меня. Старшая, Люба, на полгода меня старше, была уже взрослая, полногрудая, с нею танцовали старшие гимназисты и студенты, за нею явно ухаживал и все время танцовал с нею гимназист-дирижер Филипп Иванов. Мне танцовать с нею было неловко: она была для меня слишком тяжела и громоздка, и смущал ощущавшийся под рукою твердый корсет. Но и она,—я теперь увидел,—тоже была хороша: с темною косою до пояса, круглым, румяным лицом и синими глазами на выкате. Ах, очень даже хороша,—настоящая русская красавица. Только я казался себе слишком для нее мальчишкою. Очаровательна была и третья, Наташа, очень светлая блондинка с ясными глазами, веселая хохотушка. Танцовать с нею было хорошо, почти даже так, как с Катей.

Как-будто кто-то пленку снял у меня с глаз. Как это вдруг и почему случилось? Скучные, официально знакомые девочки преобразились и засияли поэзией и очарованием.

Я спросил Катю, будут они завтра на балу у Занфтлебен? Она сказала,—будут. Я пригласил ее на первую кадриль, а Наташу на вторую. И каждый день почти мы стали с ними видеться. И стали они все три для меня не просто знакомыми, даже не просто хорошенькими, а милыми, близкими. Когда они были в танцовальной зале, все становилось светлым, значительным и радостным.

Они пригласили меня притти к ним днем. Я провел у них целый день до позднего вечера. Мне было очень хорошо. Когда, провожая меня, все стояли в передней, Катя вдруг сказала:

— Приходите завтра опять к нам.

И все подхватили:

— Правда, приходите!

Начался для меня какой-то светлый, головокружительный, непрерывный праздник. Каждый раз, когда я вечером прощался, они меня приглашали к себе на завтра, и я совсем исчез из дому. Но теперь были праздники, а у нас дома смотрелось на это так: праздники — для удовольствий, в это время веселись во-всю. Зато будни—для труда, и тогда удовольствия только мешают и развлекают. А теперь были праздники.

Очень большая, темноватая гостиная с полированными восьмигранными деревянными колоннами. Колонны на середине высоты охвачены венками из резных дубовых листьев. Стрельчатые окна, вверху их—разноцветные мелкие стекла,—синие, красные, зеленые, желтые. Мария Матвеевна, полная, с доброй улыбкой, сидит в кресле и расспрашивает меня о здоровьи папы и мамы, о моих гимназических делах, о бабушке и тете-Анне. Муж Марии Матвеевны, Адам Николаевич, высокий, плотный и бритый, молча расхаживает по гостиной и только изредка, посмеиваясь, вставляет в разговор слово. Тут же и сестры Марии Матвеевны, и девочки, конечно.

Эти все разговоры—так, введение только. Потом мы остаемся в своей компании,—Люба, Катя, Наташа, я—и с нами неизменно Екатерина Матвеевна, тетя-Катя, сестра Марии Матвеевны, с черными, смеющимися про себя глазами, очень разговорчивая. Ей не скучно с нами, она все время связывает нас разговором, когда мы не можем его найти. Как теперь догадываюсь,—конечно, она неизменно с нами потому, что нельзя девочек оставлять наедине с мальчиком, но тогда я этого не соображал.

Увлечение мое морской стихией в то время давно уже кончилось. Определилась моя большая способность к языкам. Папа говорил, что можно бы мне поступить на факультет восточных языков, оттуда широкая дорога в дипломаты на востоке. Люба только что прочла «Фрегат Палладу» Гончарова. Мы говорили о красотах востока, я приглашал их к себе в гости на Цейлон или в Сингапур, когда буду там консулом. Или нет, я буду не консулом, а доктором и буду лечить Наташу.

— Наташа, покажите язык!

Она отказывается, хохочет. Я рисую на бумаге Наташу с высунутым длинным языком, и себя рисую,—стою перед нею и держу ее за язык.

Катею я все время исподтишка любовался и не мог понять,—почему я давно не заметил, какая она красавица. Лицо было чудесного бело-матового тона, легко красневшее нежным румянцем; медленный взгляд глаз в сторону; и эта ее улыбка. Мне и теперь кажется, что Катя была исключительною красавицею, с удиви-

тельно тонкими и изящными чертами лица. Много позже, когда я в Лувре смотрел на портрет Монны-Лизы—что-то в ее загадочной улыбке мне было знакомое,—ее я видел у Кати. И еще мне напомнил Катю портрет возлюбленной Пушкина, графини Воронцовой, где она стоит около органа в берете со страусовым пером.

4-го января, в день моего рождения, был, по обыкновению, танцовальный вечер у нас,—были и Козеровские. 5-го января—пост, и в гости нельзя. Шестое,—последний день праздников,—провел у Козеровских. Я их пригласил прийти весною в нам в сад. Простились. И—трах!—как отрезано было ножом все наше общение. Началось учение,—теперь в гости нельзя ходить; это слишком развлекает. Но в душе моей уж неотступно поселились три прелестных девических образа.

Это проводилось у нас очень строго: делу время, а потехе час. В учебное время—никаких развлечений, никаких гостей. Даже если очень какой-нибудь интересный был концерт или спектакль, мама отпускала нас неохотно, и это всегда было исключением. Даже в воскресенья и праздники во время учения—все равно: зачем в гости? Мало братьев и сестер? Играйте между собою, сколько угодно. Мы росли, как в монастыре, и совсем отвыкали от общения с людьми,—только с товарищами виделись в гимназии. Тетя-Анна возмущалась таким воспитанием, доказывала маме, что мы растем настоящими дикарями, что так девочки никогда ни с кем не познакомятся и не выйдут замуж. Мама возражала:

— Э! Все в божьей воле! Я вот сама никогда ни с кем не знакомилась, собиралась в монастырь,—а вот вышла же за папочку. Господь захочет,—все будет так, как надо.

Повидимому, родители очень боялись, чтобы из нас не вышли светские щелкуны и бездельники. Такими мы не вышли. Но большинство из нас на всю жизнь остались неразговорчивыми домоседами-нелюдимами.

Карты считались очень опасным развлечением, в них дозволялось играть только на святки и на пасху. Зато в эти праздники

мы с упоением дулись с утра до вечера в дураки, свои козыри и мельники. И главное праздничное ощущение в воспоминании: после длинного предпраздничного поста—приятная, немножко тяжелая сытость от мяса, молока, сдобного хлеба, чисто убранные комнаты, сознание свободы от занятий—и ярая, целыми днями, карточная игра.

Однажды на этой почве произошло большое недоразумение. Младший мой братишка Володя увидал, что сестры в будни играли в дураки, и начал их стыдить:

— Как вам не стыдно? Разве не знаете, что карты—святая игра, в них можно играть только на очень большие праздники?

Была такая хрестоматия Ходобая и Виноградова,—с разными отрывками и рассказцами для перевода с латинского на русский и с русского на латинский. Попался мне там один рассказец: «Геркулес на распутьи». И вдруг вздумалось мне переложить его в стихи.

До тех пор никаким сочинительством я не занимался. Раз только, когда мне было лет девять, я сшил себе хорошенькую тетрадку, старательно ее разлиновал, на первую страницу «свел» очень красивый букет из роз,—сводные картинки у нас почему-то назывались хитрым и непонятным словом «деколькомани»,— надписал заглавие: «Сказка» и дальше стал писать так:

> Наступил вечер. В кустах сидел мальчик небольшого роста и ел яблоки. Вдруг из ямки выскочил один оборванный мальчик и сказал:
>
> — Мальчик, хочешь, я тебе расскажу сказочку, а?

Но дальше ничего не мог придумать.

Теперь мне неожиданно захотелось переложить в стихи рассказ из хрестоматии Ходобая. Когда сочинилось четыре стиха с рифмами, я подбодрился и стал сочинять дальше. С неделю сочинял. Старался, потел, падал духом и опять подбадривался. Оживить рассказ нехватало фантазии, и я рабски старался держаться подлинника. В результате всех трудов получилось следующее замечательное произведение:

НА РАСПУТЬИ.

Алкида некогда, с которым в силе
Никто б равняться не посмел,
Богини две, явившися, спросили,
Какой себе желает он удел.
Одна из них была почти совсем нагая,
Со взором наглым и живым;
Себя самодовольно озирая,
Она явилася пред ним.
«Если бы,—она сказала,—
«Ты последовал за мной,
«То тебе б я показала,
«Как приятен мой покой.
«Ты примеру большей части
«Человеков подражай,
«И в несчастьи, как и в счастьи,
«Лишь меня ты призывай».
— Какую ж долю ты мне предлагаешь?—
Спросил Геракл, оборотяся ко другой,
Которая пред ним стояла
Во всем величии своем.
Она была не так прекрасна,
Как «Сладострастье», но зато
К себе всех смертных привлекало
Ее спокойное лицо.
На Геркулеса посмотревши,
Она сказала: «если ты
«Захочешь следовать за мною,
«То брось все сладкие мечты.
«Не предаваяся покою,
«Не испугавшися труда,
«Ты должен трудною дорогой
«Итти без страха и стыда.
«За мной идут немногие,
«Но все великие мужи,
«Которые безропотно
«Несут тяжелые труды.
«Но я веду их всех к бессмертию,
«Введу в собрание богов,
«И будет слава их бессмертная
«Блистать в теченье всех веков».

Тогда-то, свыше вдохновенный,
Воскликнул юноша: «тебя
«Я избираю, «Добродетель»,
«Во всех делах вести меня.
«Пускай другие предаются
«Тому презренному покою,
«А я тебе тобой клянуся
«Всегда итти лишь за тобою!»

Тула.
Января 1881-го г.

Я был весьма доволен своим трудом. Сшил тетрадку в осьмушку листа и на первой странице красиво переписал на-чисто это стихотворение. А потом: «1881 г. 9-го января. Вот я сегодня переписал на-бело первые мои стихи»... И начал дневник, который вел довольно долго.

Свершив описанный геркулесовский подвиг, стихотворческий гений мой почил на весьма продолжительное время,—на полтора года.

Сестренки Маня и Лиза сидели на зеленом диванчике в углу классной. Лиза, содрогаясь, слушала, а Маня,—горя глазами, высоко подняв голову,—вдохновенно рассказывала про какого-то героя, переживавшего великие душевные муки:

— Он был бледен, как драная корова, он дрожал, как засаленный колпак, из глаз его текла смола...

Я услышал и расхохотался, и поднял Маню на смех. И всем рассказал, и навсегда в нашей семейной памяти остался этот отрывок из маниного рассказа.

Уже взрослою, Маня не раз вспоминала, как больно ей было и обидно, что я так подсек ее рассказчицкое вдохновение. Ей казалось, что описание мук героя было потрясающее, и Лиза подтверждала: да, она слушала и содрогалась, и ужасно была поражена: что мне тут показалось смешным?

2-го марта мы узнали, что царь убит в Петербурге бомбой. Все большие события, и радостные, и печальные, на гимназической нашей жизни прежде всего отзывались тем, что вместо уроков нас вели на благодарственный молебен или на панихиду и потом отпускали по домам. Так что нам всегда было удовольствие.

Отслужили панихиду по Александру II, молебен о вступившем на престол Александре III, и отпустили домой. Я шел по Площадной улице. Вдруг вижу, от Красноглазовского переулка, впереди меня, переходит улицу Люба с книгами в ремнях; тоже после панихиды распустили. У ней была совсем особенная, мне очень нравилась, плывущая походка,—как будто бы лодка качается на тихой волне. И совсем уже взрослая барышня. Большие синие, выпуклые глаза,—она шла впереди меня, но мне казалось,—она меня видит и назади этими глазами. Выражение лица было застенчиво-ожидающее. Да, она видит меня, это несомненно. Видит и ждет, что я нагоню ее, заговорю с ней.

Я стал краснеть, краснеть, сердце забилось медленными, крепкими толчками, дыхание сперлось. Я притворился, что не вижу Любы, лихим, беззаботным шагом быстро прошел по тротуару,—раньше, чем она взошла на него с улицы. И тем же молодецким манером зашагал вверх по Ново-Дворянской улице. Около дома Щегловых оглянулся. Люба уже скрылась за углом Площадной. Но перед глазами все еще были и ее чудесная, густая коса ниже пояса, и синие, видящие назад глаза, и застенчиво заалевшая щека... Пропустил! Отчего же я не подошел?! К-а-к-о-й б-о-л-в-а-н! Ох, какой непроходимый болван!

И дома все время стояла перед глазами Люба, светло было, радостно на душе, и думалось: да, она ждала, что я подойду к ней, ей хотелось этого!

Любимым политическим деятелем папы был Гладстон, кабинетный его портрет стоял у папы на письменном столе. С горячим сочувствием он следил за деятельностью Лорис-Меликова и говорил, что долг русского общества—тактичным своим поведением облег-

чить ему осуществление его стараний дать России конституцию. В это время по всей Руси гремели взрывы революционеров, устроивших форменную охоту за Александром II. Папа страшно возмущался, говорил о том, как это тормозит работу Лорис-Меликова, как это на руку темным силам, с Катковым во главе, которые отговаривают царя от либеральных реформ.

1-е марта особенного впечатления на меня не произвело. Больше всего тут занимало, что будет царь не Александр II, а Александр III, и что в церковной службе теперь все изменится: «благочестивейшим, самодержавнейшим» будет Александр Александрович, цесаревна Мария Федоровна будет императрицей, а великий князь Николай Александрович—«благоверным государем-цесаревичем».

Вообще же убийство царя произвело, конечно, впечатление ошеломляющее. Один отставной военный генерал,—он жил на С'езженской улице,—был так потрясен этим событием, что застрелился. Папа возмущенно сообщал, что конституция была уже совсем готова у Лорис-Меликова, что царь на-днях собирался ее подписать,—и вдруг это ужасное убийство! Какое недомыслие! Какая нелепость!

Пришел очередной номер журнала «Русская Речь»,—папа выписывал этот журнал. На первых страницах, в траурных черных рамках, было напечатано длинное стихотворение А. А. Навроцкого, редактора журнала, на смерть Александра II. Оно произвело на меня очень сильное впечатление, и мне стыдно стало, что я так легко относился к тому, что случилось. Я много и часто перечитывал это стихотворение, многие отрывки до сих пор помню наизусть. Начиналось так:

На острове низком, за крепкой оградой,
Омытой волнами Невы,
Во граде Петровом, давно уже ставшем
Столицею после Москвы,
Под сенью соборного храма, в могиле,
Среди тишины гробовой,
Лежит государь, император России,
Сраженный злодейской рукой.
Сожжен, искалечен ужасным снарядом,
Лежит его царственный прах

С улыбкою горькой немого укора
На полуотверстых устах...

Каждый раз, когда я доходил до этого места, рыдания подступали к горлу, и сквозь пленку слез буквы в книге двоились и расплывались. «*С улыбкою горькой немого укора*»! И я чувствовал, как все мы, все мы виноваты в случившемся ужасе, и что нет нам оправдания. Описывался первый взрыв, потом:

Ты мог бы спастись и теперь. Но увидев,
Что верные слуги твои
И мальчик прохожий от адского взрыва
Метались и бились в крови,—
Ты смело пошел к ним, не ведая страха,
Желая их муки смягчить,
Желая приветом и словом участья
Страдания их облегчить.
И в это мгновенье, когда пострадавшим
Ты нес утешенье любви,—
Злодей совершил свое гнусное дело
И сам захлебнулся в крови!

О, я живьем видел этого гнусного злодея с косматыми волосами и кровожадной улыбкой, как он упоенно захлебывается собственною кровью, глядя со зверским наслаждением, как летят в воздух оторванные ноги царя! Поэт ярко рисовал нравственную природу этих людей:

Ведь в людях, где совесть—одна прибаутка,
Где бог—лишь бессмысленный звук,
Где к ближним любовь—сладострастная шутка,
Не может быть нравственных мук!

И я мечтал: выросту большой, сделаюсь студентом—и поступлю к ним. Притворюсь бессовестным, буду насмешливо хохотать, когда кто-нибудь заговорит при мне о страданиях людей. Заслужу этим полное их доверие. Мы соберемся и, кровожадно потирая руки, начнем сговариваться, как бы нам убить и нового царя Александра III. Я буду предлагать самые зверские способы, чтобы он побольше

мучился перед смертью. Все обдумаем, решим, всё назначим,—а потом я напишу царю и все ему расскажу: «Многоуважаемый царь Довожу до вашего сведения... Примите и прочее»...

Подлинная выписка из тогдашнего моего дневника:

Вторник 19 мая (1881 г.).

Сегодня у нас был греческий экзамен; я через два часа после начала попросился выйти; пришедши в сортир, я увидел, что там на окне лежат греческие этимология и синтаксис. Я сначала не хотел туда заглянуть, но уж очень мне хотелось знать, с чем ставится phthonéo,— с дательным или винительным? Я в переводе поставил с дат.; посмотревши в синтаксис, я увидел, что нужно с винит.; пришедши в класс, я поправил мою ошибку; но потом мне сделалось совестно («плутовство! плут!» думал я); я долго колебался, но, наконец, зачеркнул правильную форму и сделал прежнюю ошибку,—ведь если бы я не сплутовал, то все равно стояло бы так.

Только что кончились переходные экзамены из пятого класса в шестой. Было то блаженство свободы, отсутствия нависшей угрозы, заслуженного права на отдых, какое бывает только после экзаменов. Да еще в первый раз я получил награду первой степени. До тех пор я переходил их класса в класс с наградой второй степени,—похвальным листом. Теперь я должен был получить какую-нибудь хорошую книгу в красивом переплете.

Стоял май, наш большой сад был, как яркое зеленое море, и на нем светлела белая и лиловая пена цветущей сирени. Аромат

ее заполнял комнаты. Солнце, блеск, радость. И была не просто радость, а непрерывное ощущение ее.

Под-вечер сидел я на балконе и читал. Вдруг горничная:

— Викентий Викентьевич, пришла какая-то дама с барышнями, спрашивают вас.

Я разом задохнулся, сердце екнуло от радости и смущения. Я сейчас же догадался, что это—Козеровские. Они еще на святках обещались мне прийти к нам в сад, когда кончатся экзамены. Я бросился в переднюю, неприятно чувствуя, что совершенно красен от смущения.

Да! Девочки Козеровские с их тетей Екатериной Матвеевной. И Люба, и Катя, и Наташа! Я повел гостей в сад... Не могу сейчас припомнить, были ли в то время дома сестры, старший брат Миша. Мы гуляли по саду, играли,—и у меня в воспоминании я один среди этой опьяняющей радости, милых девичьих улыбок, блеска заходящего солнца и запаха сирени.

У Козеровских не было сада. Я наломал им в нашем саду огромные букеты сирени. В сумерках они собрались уходить. Я пошел их проводить. Прозрачные, слабо светящиеся майские сумерки, тихие белые улицы, запах душистых тополей из садов. Давно исчезло смущение, которое было вначале, чувствовалось с Катею легко и свободно. Она продела свою руку мне за локоть, и я повел ее под руку; это у нас не было принято, это была как-будто игра, и в то же время было доверчиво-интимно. У их ворот, на углу Площадной и Старо-Дворянской, мы долго еще стояли, прощаясь. Я разговаривал с Екатериной Матвеевной, а Катя лукаво смеющимися глазами смотрела на меня и не выпускала из своих ручек моей правой руки, изредка пожимая ее.

Долго я ходил по улицам, пьяный светлым, блаженным хмелем. Благодарный и торжествующий смех подступал к груди, когда я вспоминал Катин взгляд, и как она держала в своих руках мою руку. Была в этом рукопожатии детская, товарищеская чистота—и в то же время пробуждавшаяся девичья любовь. Так полна была душа, так радостно все в ней сверкало, билось и пело, что хотелось к кому-то принести эту невместимую радость, благодарственною жертвою сло-

жить к чьим-то ногам и молиться, и широко простирать руки... Как хорошо! Как все хорошо в мире!

Сошел я вниз, в комнату, где жил с братом Мишею. Зажег лампу. И вдруг со стены, из красноватого полумрака, глянуло на меня исковерканное мукою лицо с поднятыми кверху молящими глазами, с каплями крови под иглами тернового венца. Хромолитография «Ecce homo!» Гвидо Рени. Всегда она будила во мне одно настроение. Что бы я ни делал, чему бы ни радовался, это страдающее божественною мукою лицо смотрело вверх молящими глазами и как бы говорило:

— Отче! Прости ему! Не ведает бо, что творит!

И становилось стыдно, блекнул блеск, обесцвечивалась радость, глаза виновато опускались. Чтоб это лицо не укоряло, нужно было быть серьезным, строгим и скорбным.

И теперь, из окутанного тенью угла, с тою же мукою глаза устремлялись вверх, а я искоса поглядывал на это лицо,—и в первый раз в душе шевельнулась вражда к нему... Эти глаза опять хотели и теперешнюю мою радость сделать мелкою, заставить меня стыдиться ее. И, под этими чуждыми земной радости глазами, мне уже становилось за себя стыдно и неловко... Почему?! За что? Я ничего не смел осознать, что буйно и протестующе билось в душе, но тут между ним и мною легла первая разделяющая черта.

У дедушки Викентия Михайловича, папиного дяди,—я об нем уже рассказывал,—было два сына. Один, Николай, получил от отца в наследство село Теплое, вскоре продал его и жил где-то в Минской губернии. Его и семью его мы почти не знали. Другой, Гермоген Викентьевич, жил в Рогачеве Могилевской губернии, служил там в акцизе. У него была тетка по матери, Ольга Богдановна Курбатова, богатая тульская помещица, он был ее любимый племянник. Она оставила ему в наследство два из своих многочисленных имений, разбросанных по Тульской губернии,—Зыбино и Щепотьево, верст за восемь одно от другого, в общей сложности десятин пять-

сот. В Зыбине — огромный барский дом, где жила и умерла она сама.

Известно, что у нас на Руси два было дела, для которых не считалась нужною никакая предварительная подготовка,—воспитание детей и занятие сельским хозяйством. Гермоген Викентьевич подал в отставку и приехал в Зыбино хозяйничать. Он был хорошим и исполнительным чиновником, но хозяином оказался никуда не годным. На наших глазах все постепенно ветшало, ползло, разваливалось. Оборотного капитала не было: чтобы жить, приходилось продавать на сруб лес и—участками—саму землю.

С его семьею жизнь наша переплелась самым тесным и многообразным способом, и долгие годы мы жили почти как одна семья.

Закрываю глаза,—и так мне представляется тогдашнее Зыбино. Прежде всего—ярко-солнечная зелень огромного сада; вся она полна птичьим стрекотанием, свистом, чириканьем; особенно выдается своею необычностью (у нас в Туле я их никогда не слыхал)—гулкое воркование горлинок. Почему-то их всегда было в Зыбине очень много. Липовые аллеи, густые черемуховые и вишневые заросли, древние плакучие березы-великаны с какою-то особенною травою под ними,—длинною, редкою и шелковистою. Тихая речка Вашана под горой, полная до краев: за полверсты ниже ее—плотина и мельница.

Огромный старинный барский дом с несчетным количеством комнат. Полы некрашеные, везде грязновато; в коридоре пахнет мышами. На подоконниках огромных окон бутылки с уксусом и наливками. В высокой и большой гостиной—чудесная мебель стиля ампир из красного дерева, такие же трюмо, старинные бронзовые канделябры. Но никто этому не знает цены, и мы смотрим на все это, как на старую рухлядь.

В просторном кабинете, за широким письменным столом, сгорбившись, сидит в халате Гермоген Викентьевич,—дядя-Геша,—очень толстый, с выпуклыми близорукими глазами. На стене портреты в рамках, среди них много дагеротипов: слепое серебряное поле, и только если смотреть сбоку, то видны дамы в буклях и кринолинах, мужчины во фраках, с маленькими бачками. Стекла больших окон—

пыльные, засиженные мухами. Посмотреть в окно, — за кучами валежника треплется под ветром крапива, а дальше—кирпичные развалины. Работник Николашка, рассчитанный за пьянство, поджог службы, сгорели амбар, сарай, конюшни, остались от них только кирпичные стены; внутри—груды кирпичей, густая крапива и кусты бузины.

Звонко по дому и по двору разносится голос тети Марии Тимофеевны,—всегда она кого-нибудь распекает, и за горелым сараем четко отдается: та-та-та-та-та!

Семья у них тоже, как у нас, была большая—семь человек детей. Две старшие девочки,—Оля и Инна,—были года на три, на четыре моложе меня, потом шел сын Викентий, мой тезка; меня звали Витя-Большой, его Витя-Малый. Дальше шла мелюзга, которою я еще не интересовался.

В 1880 году Оля и Инна поступили в Тульскую женскую гимназию. Родители продали на сруб щепотьевский лес и купили в Туле двухэтажный дом на Старо-Дворянской улице, за угол от нас кварталом выше, наискосок от дома бабушки. В нижнем этаже поселились сами, верхний отдавали внаймы.

С этой поры началось тесное сближение двух наших семей. Родственники мы были довольно отдаленные,—троюродные друг другу братья и сестры, но росли почти как одной семьей и чувствовали себя друг с другом ближе, чем с многочисленными двоюродными братьями.

У нас больше были блондины, у них брюнеты. И прочно установилось название: Смидовичи белые—мы; Смидовичи черные—они. Различались мы не только цветом волос: дух семей, темпераменты, жизнеотношение—все было совершенно различное. Характерные семейные особенности: у черных—бесстрашие перед жизнью, большая активность, всегда ожидание всего самого лучшего, организаторские способности, уменье легко сближаться с людьми; с другой стороны,—неразборчивость в средствах, грубость в обращении с людьми, самоуверенность. У белых Смидовичей: культурность и корректность, щепетильная честность, большая деликатность,—даже выражение у нас было: «чисто-белая деликатность!» С другой стороны,—отсутствие активности и инициативы, полное неверие в свои силы, ожидание от жизни всего самого худшего, поэтому робость перед нею,

тугость в сближении с людьми, застенчивое стремление занять везде местечко подальше и поскромнее. Несмотря на такое различие, мы жили очень тесно и дружно. Влияние друг на друга было сильное и многообразное.

Летом мы жили у них в Зыбине, зимою постоянно видались в Туле. Основная наша компания была: Оля и Инна, мои родные сестры Юля, Маня, Лиза и Витя-Малый. В этой, преимущественно девичьей компании, я был самым старшим, самым развитым и властвовал над нею безраздельно. Был организатором игр, прогулок, состязаний,—как старший, везде, конечно, первенствовал, и во всех играх все рвались быть в моей партии, — в городках, в крокете, в лапте. Я очень любил рассказывать, а они слушать меня. Во время летних прогулок на копне сена или на обрыве над речкой Выконкой, в дождливые дни—в просторной гостиной, на старинных жестких диванах красного дерева,—я им долгие часы рассказывал или читал,—сначала сказки Гоголя и Кота-Мурлыки, «Тараса Бульбу», исторические рассказы Чистякова, потом, позже,—Тургенева, Толстого, «Мертвые Души», Виктора Гюго. Все жадно теснились ко мне, старались сесть поближе, ловили каждое мое слово. Это было сладко и радостно. И часто я недоумевал: почему так легко и вдохновенно говорится мне в нашей зыбинской компании,—и часто так трудно, так напряженно вяжется разговор у Козеровских? Когда я приезжал в Зыбино, я с головою окунался в атмосферу общей любви, признания и скрытого восхищения. И я очень любил бывать в Зыбине. Раз шел с купанья домой, с простыней на плече. Сгущались зеленоватые июньские сумерки, чаща сада темнела, сквозь ветки горела вечерняя звезда; дом сиял огромными освещенными окнами, смех, звон посуды, звуки рояля из гостиной. Бодрая крепость в теле, ощущение прочной чистоты от частого купанья, сейчас вкусный ужин, все тебя любят, все тебе рады. И странно мне стало: как это Фауст не нашел в своей жизни ни одного мгновенья, чтобы сказать: «остановись, ты прекрасно!»

Больше всего в то время я дружил с Витькою-Малым. Он был на пять лет моложе меня,—мальчишка приземистый, очень сильный, с насупленными бровями.

Если бы стать на дворе перед домом, то слева и справа высились белые каменные столбы ворот. Левые ворота вели в широкую липовую аллею сада. Правые тоже вели в сад,—он назывался Телячий сад, потому что в нем пасли телят. Не было тут ни аллей, ни дорожек; только разбросанные группы деревьев и огромные одиночные липы с ветками, спускавшимися до земли. От двора Телячий сад отгораживали кирпичные развалины горелого сарая, под растрескавшимися его стенами росла темнолистная бузина и высоченнейшая крапива; густые армии этой же крапивы тянулись от развалин в глубину Телячьего сада.

Сколько тут было боев с поляками, сколько посечено казацкими шашками ляшских голов! Я был Тарас Бульба, Витя-Малый—Кукубенко, невидимо присутствовали и Остап, и Андрий, и Мосий Шило, и Демид Попович. У нас были вырезанные мною из дерева шашки, ружья, кинжалы. Мы бешено врубались в крапиву и прокладывали себе дорогу сквозь гущу ляхов, и лихо сбивали головы их начальникам,—красноголовым репейникам-татарникам.

Потом мы решили построить себе курень. Выбрали укромное место в канаве старого сада, густо заросшее лозняком и черемухой. Расчистили дно и стенки, устроили стол, в откосах канавы вырыли сиденья и погреб для припасов, развесили по сучкам свое оружие. Отсюда мы делали набеги на ляхов, сюда скрывались от их преследования.

За обедом мы потихоньку заворачивали в бумагу куски еды. Девочки это заметили, заметили также, что мы на целые часы исчезаем куда-то. И вот однажды сидим мы в своем курене, распиваем горилку,—сахарную воду с малиновым соком,—вдруг слышим невдалеке говор, треск сучьев. Подкрались: в десяти шагах от нас, в нашей же канаве, Инна и Маня лопатами расчищают себе совсем такое же убежище, как наше. Мы на них налетели: какое они имеют право? Здесь мы играем!—«Мы вам не мешаем,—играйте, пожалуйста! А канава не ваша!»

Долго мы препирались, подошли другие девочки. Я требовал, чтоб они тут не делали дома,—стройте в Телячьем саду или на другом конце сада. Но девочки видели наш прекрасный дом и не могли себе представить, как можно такой дом построить в другом месте, а не в этой же канаве. Меня раз'ярило и то, что наше убежище открыто, и еще больше,—что задорные Инна и Маня не исполняют моих требований, а за ними и другие девочки говорят:

— Кто же вам подарил всю канаву?

Я разозлился и сказал угрожающе:

— Ну, вот что! Подарил кто или не подарил, а знайте,—заранее вас предупреждаю: если мы кого из вас застанем здесь в канаве, то поднимем той юбочку и всыплем таких горячих, что долго будет помнить!

Девочки не испугались и стали строить свой дом. Мы тогда охладели к своему и бросили его. Тогда и девочкам стало неинтересно, и они перестали строить дом. Я их обличал и стыдил, и обливал презрением:

— Видите! Только, чтоб на зло! Добились своего,—заставили нас бросить,—и сами перестали... Никогда вам за это не стану ничего рассказывать!

И часто нарочно, чтоб они слышали, вставал и говорил Вите:

— Ну, Витька, пойдем дальше рассказывать. Мы, значит, остановились на том, как пан Данило ехал с хлопцами по Днепру на лодке, и как мертвецы на кладбище поднимались из могил...

И мы уходили, и девочки с горем и завистью провожали нас глазами.

Наконец, мы помирились с девочками и в той же канаве сообща стали строить большой дом. Выстроили, целых две недели пользовались им, до нашего от'езда.

Сестры уехали в Тулу раньше, а я после них через три дня. Приехал домой. Как всегда после Зыбина, комнаты нашего дома показались мне странно маленькими, потолки низкими, давящими душу. Бросился целоваться с папой,—он сухо ответил на мой поцелуй и молча отвернулся. Мама тоже встретила холодно. В чем-то, значит, проштрафился! Всегда, когда я откуда-нибудь приезжал

домой, я мог неожиданно встретить строгое, укоризненное осуждение, потому что нигде к нам не пред'являли таких несгибающихся моральных требований, как дома.

На следующий день мама с возмущением заговорила со мною об угрозе, которую я применил к девочкам в нашей ссоре за дом. Рассказывая про Зыбино, сестры рассказали маме и про это. А папа целый месяц меня совсем не замечал и, наконец, однажды вечером жестоко меня отчитал: какая пошлость, какая грязь! Этакие вещи сметь сказать почти уже взрослым девушкам!

— Да я бы этого, правда, не сделал. Я только попугать. Зачем же они...

— Правда, не сделал бы! Да если бы ты это, *правда*, сделал, я бы тебя сейчас же выгнал вон из дома, навсегда бы отрекся от тебя. Так позволить себе обращаться с девушкой! Ни минуты не потерпел бы у себя такого негодяя.

КАК Я НАЧАЛ КУРИТЬ.—Отец мой курил. Сколько мне приходилось наблюдать, легче всего привыкают курить и труднее всего отвыкают от курения люди, родители которых курили. Может быть, тут уже наследственно, с кровью, передается склонность к курению (передается же склонность к пьянству); вполне уж несомненно, что организм детей приучается тут уже с раннего детства к никотину, потому что они все время вдыхают табачный дым курящего отца. И, наконец,—для ребенка в большинстве случаев именно отец его является олицетворением «взрослости», а ребенку всегда нравится казаться взрослым.

Был я тогда, помнится, в шестом классе. Многие мои товарищи давно уже курили. На переменах, в уборных, торопливо затягивались раз за разом и пускали дым в отдушники и возвращались с противным запахом дешевого табаку. Мне очень хотелось курить. Во-первых, потому что это запрещалось, и у того, кто курил, был особый оттенок лихости. А главное, это делало взрослым. Голос у меня уже ломался, на верхней губе, если внимательно вглядеться, пушок был гуще и длиннее, чем на лбу или щеках. Но это все еще

можно было оспаривать. Папироса же во рту,—это был факт, против него ничего уж не возразишь.

Стояла поздняя осень, когда балконные двери уже законопачены и обмазаны замазкою, и когда в сад можно пройти только через кухню и двор. В саду холод, безлистный простор, груды шуршащих листьев под ногами, незамеченная раньше пара красных китайских яблочек на высокой ветке, забытая репа в разрытой огородной грядке. Есть это было особенно вкусно.

Мы с товарищем Фомичевым ушли подальше в большую аллею, чтоб нас нельзя было увидеть из окон дома. Я вынул из кармана коробочку папирос,—сегодня купил: «Дюбек крепкий. Лимонные». Взяли по папироске, закурили. Фомичев привычно затягивался и пускал дым через нос. У меня кружилась голова, слегка тошнило, я то-и-дело сплевывал. Фомичев посмеивался:

— Ишь, как побледнел!

Пробыли в саду, пока не стало темнеть. Коробочку с папиросами я спрятал в щель под большой беседкой. Уходя домой, Фомичев мне посоветовал:

— Прополощи хорошенько рот. А то будет пахнуть,—узнают.

Пополоскал. Совестно глядет папе и маме в глаза. Противно, что прячешься. На следующий день сделал над собою усилие, подошел к папе и рассказал, как мы вчера курили.

У папы потемнело лицо от печали, он оперся лбом о ладонь и долго молчал. Потом грустно сказал:

— Если ты будешь курить потихоньку, прячась в сортире и за кустами, то уж лучше кури открыто.

Мне было совестно. И жалко папу. Но все это покрылось совершенно мною неожиданной радостью: *кури открыто*.

Я виновато вздохнул, опустил голову и медленно вышел из кабинета. Потом радостно побежал к сестрам и об'явил:

— Знаете,—папа мне позволил курить!

— Неправда!

— Ч-честное слово!

И вот после обеда я торжественно закурил папиросу. «Лимонные. Дюбек крепкий». Принес из сада. Девочки стояли вокруг и

смотрели. Я смеялся, морщился, сплевывал на пол. Папа молча ходил из столовой в залу и назад,—серьезный и грустный, грустный. Иногда поглядит на меня, опустит голову и опять продолжает ходить.

У меня щемило на душе, я старался на него не смотреть,—и плевал в угол, и говорил:

— Какая, в сущности, гадость!

И опять втягивал дым в рот.

До шестого класса гимназии я искренно и полно верил в православного бога. Одно время, с полгода,—помнится, было это в четвертом классе,—я переживал период аскетизма: постился с умилением, ходил на все церковные службы, перед гимназией заходил к Петру и Павлу к ранней обедне, молился перед сном горячо и подолгу.

Но это скоро кончилось. Бог стал для меня,—несомненно, конечно, существующим,—высшим начальством: критиковать это начальство было грешно, и за ослушание оно наказывало жестоко. Иногда вечером, когда ляжешь спать,—мягко, тепло, в теле истомное блаженство от уверенно наплывающего молодого сна,—и вдруг в голову мысль:

«Тебе сейчас хорошо. А что будет на том свете? Шалишь, грешишь, о смерти не думаешь... Тогда пожалеешь! Неужели не выгоднее как-нибудь уж потерпеть тут, на этом свете,—всего ведь несколько десятков лет. А за то там—безотменное блаженство на веки-вечные. А то вдруг там тебе—ад! Ужаснейшие муки,—такие, какие даже представить себе трудно,—и на веки! Только подумать: на веки-вечные!.. Эх-эх-эх! Не забывай этого, Витя! Пожалеешь, да поздно будет!»

Всегда умиляло и наполняло душу светлою радостью то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Он невидимо стоит около меня, радуется на мои хорошие поступки, блистающим, белым своим крылом прикрывает от темных сил. Среди угодников были некоторые очень приятные. Николай-угодник, например, самый из всех приятный. Ночью под шестое декабря он тайно прихо-

дил к нам и клал под подушку пакеты. Утром проснешься,—и сейчас же руку под подушку, и вытаскиваешь пакет. А в нем—пастила, леденцы, яблоки, орехи грецкие, изюм.

В семье нашей царил очень строгий религиозный дух. Мы постились сплошь все посты: великий (семь недель)—весною, петровский (с месяц)—летом, успенский (две недели)—осенью и филипповский (шесть недель)—зимою, перед рождеством. Кроме того, постились каждую среду и пятницу. Очень от этих постов приходилось тяжко, и думаю, много они принесли нам вреда, особенно тем из братьев и сестер, которые были не так крепки, как я. Было непрерывное ощущение голода, чисто физическая тоска в теле и раздражение, тупая вялость в умственной работе. А работа умственная требовалась колоссальная: пять часов продолжались уроки в гимназии; придешь домой,—обед, час-два отдыха; от пяти до шести—занятия с гувернанткою нашею Марией Порфирьевной один день немецким языком, другой день французским; потом уроки учить часов до одиннадцати. Часов десять умственной работы! Это у ребят одиннадцати, двенадцати лет! И как мы все от этой умственной работы не сделались идиотами! И вот, при такой-то работе: утром—пустой чай без молока, на большой перемене в гимназии—пара пеклеванок или половина французской булки; идешь домой,—по всему телу расходится молодой, здоровый аппетит. И на этот аппетит—обед: картофельная похлебка, политая постным маслом, и рисовые котлеты с грибным соусом. Встаешь из-за стола, как-будто не ел. Первые тут начались душевные бунты:

«Какое удовольствие Иисусу Христу или богу-отцу, что я такой голодный и несчастный?»

Каждое воскресенье и каждый праздник мы обязательно ходили в церковь ко всенощной и обедне. После всенощной и на следующий день до конца обедни нельзя было ни петь светских песен, ни танцовать, ни играть светских пьес на фортепиано (только гаммы и упражнения). Слава богу, хоть играть можно было в игры. Говорить слово «чорт» было очень большим грехом. И, например, когда наступали каникулы, школьники с ликованием пели известную песенку:

Ура! Ура! Ура!
На каникулы пора!
Птички райские запели,
Книжки к чорту полетели,
А тетради уж давно
Полетели за окно!

У нас слово «к чорту» заменялось «в печку».

Бунт против бога начался с постов,—да еще с посещения церкви. Я маму спрашивал,—для чего нужно ходить в церковь? Ведь в евангелии сказано очень ясно: «когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне... А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многоглаголании своем будут услышаны».

Мама возражала:

— Это не относится к посещению церкви. Сам Господь сказал: «где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них».

— Ну, а многоглаголание-то, многоглаголание? Неужели бог скорее нас услышит, если мы ему пятьдесят раз скажем: «Господи помилуй! Оспо помил! Оспо помил! Ос-помилос! Помело-с! Помело-с!» Или ектеньи,—чуть не по десять раз в одной службе одно и то же!

С папой спорить было много труднее.

— Какое удовольствие Иисусу Христу, что я голодаю?

— Иисусу Христу никакого от этого удовольствия нет, и ты это делаешь не для него, а для себя,—чтобы приучиться не зависеть от своего тела, стоять выше его требований, побеждать их силою своего духа.

— Почему собираться вместе в церковь?

— Потому что, когда люди вместе, у них легче создается общее молитвенное настроение; церковная служба, пение, каждение, восковые свечи перед иконами — все это помогает вызвать у людей это молитвенное настроение.

— Да ведь сам же Христос сказал: «запритесь в комнате».

— Это относится к одиночной молитве. И сам Христос,— неужели ты этого не знаешь?—постоянно посещал храм, выгнал из него торгующих, называл его домом молитвы, домом Отца моего.

Я уходил побежденный. Но по мере того, как я рос и развивался, схватки с папой становились чаще, продолжительнее, горячее.

На святках были опять танцовальные вечера, опять мы часто виделись с Козеровскими, и они окончательно завоевали мое сердце. Все три—Люба, Катя и Наташа. Но особенно—Катя.

Козеровские—это стало как бы мое личное знакомство. Раз в год они официально бывали у нас на танцовальном вечере, который у нас устраивался на святках, 4 января, в день моего рождения, раз в год и мы у них бывали на святочном танцовальном вечере. Но у наших девочек знакомство с ними не ладилось. Козеровские прекрасно говорили по-французски, имели изящные манеры, хорошо одевались, были очень тонные. Нашим все это было не по нутру. Бонтонность стесняла. Сестры восхищались красотою и изяществом Козеровских, но скучали с ними. Для меня же все там было, как в раю. И я опять все праздники пропадал у них.

Еще сильнее и глубже, чем с Машей Плещеевой, я познал то чувство, для которого на русском языке было не удовлетворявшее меня слово «тоска», а на немецком—хорошее, подходящее слово «Sehnsucht». Заключалось это чувство в следующем: без Козеровских могло быть приятно, хорошо, весело, но всегда часть жизни,—и самая сладостная, поэтическая часть,—была там, двумя кварталами ниже нашего дома, на углу Старо-Дворянской и Площадной. Туда все время неслись мысли, там была вся поэзия и красота жизни. В душе непрерывно жила светлая, задумчиво-нежная тоска и недовольство окружающим. Часто по вечерам, когда уже было темно, я приходил к их дому и смотрел с Площадной на стрельчатые окна гостиной, как по морозным узорам стекол двигались смутные тени; и со Старо-Дворянской смотрел, перешедши на ту сторону улицы, как над воротами двора, в маленьких верхних окнах антресолей,—в их комнатах,—горели огоньки. И, умиленный, удовлетворенный, я возвращался домой. Когда же я бывал с Козеровскими, мне больше ничего не было нужно, все было тут.

Очень мне у Козеровских нравилась одна игра. Называлась: «Врешеньки-врешь». Каждый играющий был каким-нибудь цветом,—красным, зеленым, голубым. Один из играющих,—скажем, Люба,—заявлял, что зеленый цвет нехорош. Я,—зеленый цвет,—ей возражал:

> **Врешеньки-врешь,**
> **Любочка, врешь,**
> **Мой цвет очень хорош,**
> **А нехорош голубой.**

Катя,—голубой цвет,—отвечала мне:

> **Врешеньки-врешь,**
> **Витечка, врешь,**
> **Мой цвет очень хорош,**
> **А нехорош черный.**

И так дальше... Очень приятная была игра. Приятно было из уст Любы слышать «ты» и «Витечка», приятно было говорить Кате «ты, Катечка, врешь». Я в восторге пришел домой, стал обучать игре братьев и сестер. Они с недоумением выслушали.

— И больше ничего? Врешь, что мой цвет плох, только? Ну, очень скучно!

— Да нет, вот давайте, попробуем! Увидите—ужасно интересно!

Настоял. Стали играть. Но и самому было скучно говорить Мише «врешь», и от сестры Юли слышать «Витечка, ты». Совсем оказалась неинтересная игра. Как же я этого сразу не заметил? Очень я был сконфужен.

Любу, старшую из сестер, я любил почтительною, несмеющею любовью: я представлялся себе слишком для нее мальчишкою. Притом мне казалось, она увлекается нашим обычным бальным дирижером, Филиппом Ивановым, гимназистом старше меня. А у меня всегда была странная особенность: если я видел, что женщина увлекается другим,—я спешил немедленно устраниться и тушил начинавшую разгораться любовь. Вроде, как улитка: вытянула щупальцы, водит вокруг, коснулась чужого предмета,—и тотчас щупальцы

в себя! Помню, я раз передал Любе восторженный отзыв о ней Филиппа. Люба рядом со мною облокотилась о черную крышку рояля и отрывисто сказала, глядя вдаль:

— Расскажите подробнее!

И я рассказал, как Филипп восхищался ее красотою, ее изяществом и умением танцовать, ее длинною и густою косою. Ее глаза радостно светились, и мне приятно было.

Через год отец Филиппа, акцизный чиновник, был переведен в Петербург, и они всею семьею уехали из Тулы.

Я держался от Любы отдаленно, мне стыдно было навязываться. Наверно, она все время думает о Филиппе,—чего я к ней буду лезть? В первый раз, когда я ее обогнал на Площадной и не поклонился, и она взволнованно покраснела, у меня мелькнуло: может быть, и я ей правлюсь?

Потом раз, уже под самый конец вечера, на балу у них, я решился пригласить Любу на польку. В то время, когда мы танцовали, она спросила меня,—и это у ней вышло очень как-то просто и задушевно:

— Витя, почему вы меня никогда не приглашаете на танцы?

Я сконфузился.

— Мне кажется, вам со мною неинтересно и неловко танцовать. Вы совсем уже взрослая! Я для вас слишком мальчик.

— Ах, Витя, что вы говорите! Напротив, мне очень ловко с вами танцовать и очень приятно: вы так твердо и уверенно кружите даму au rebours, устремляетесь в самую толкотню, и никогда никого не заденете. Совсем какое-то особенное чувство: вполне вам доверяешься и ничего с вами не боишься.

Я посадил ее, запыхавшуюся, сел на свободный стул рядом. И весь конец вечера мы проговорили.

После этого я не так уж стал бояться Любы. Мы начали сходиться ближе. У нее был удивительно задушевный голос, и с нею больше было общего разговора, чем с Катей: с Любой мы были однолетки, Катя была на три года моложе. Кроме того, Катя была очень гордая. Когда я неожиданно встречал ее на улице и кланялся, она хмурилась, еле кивала мне в ответ головою и, покраснев, отворачивалась.

Тоже и в гостях, когда где-нибудь встречались, она сначала еле разговаривала, сдвигала брови, как-будто я ее чем-нибудь обидел, и только постепенно становилась милой и ласковой. Теперь я соображаю, что это у ней было от застенчивости, но тогда был уверен, что все это—гордость, и не мог понять, почему она со мною так держится, когда я ей как-будто нравлюсь.

Люба с самого начала держалась просто и приветливо, и с нею было хорошо разговаривать. Иногда я не смел о ней думать, иногда ликующая мысль врывалась в душу, что и она меня любит. Раз она мне сказала своим задушевным голосом:

— Ах, Витя, как я вам завидую! Вас все так любят, все так вами восхищаются!

И я долго мучился вопросом: что она хотела сказать? Сама-то она,—только завидует мне, или—раз все, то значит... Умом я себе говорил: конечно, первое! А в душе были ликование и умиление.

Небывалое дело. Директор наш Куликов устроил на масленице в гимназии бал,—с приглашенными гимназистками, с угощением, с оркестром музыки. Необычно было видеть знакомые коридоры, по которым двигались разряженные барышни, видеть классы с отодвинутыми партами, превращенные в буфеты, курильные, дамские комнаты.

Козеровских не было, значит, настоящего веселья, упоения душевного быть не могло. Но повеселиться все-таки можно было, были хорошенькие дамы, меня представили дочерям директора,—одна была стройная, с косою, и немножко напоминала наружностью Машу Плещееву. Но увы! На руках моих были белые замшевые перчатки, которые сделали для меня веселие совершенно невозможным. Накануне я долго и старательно чистил их бензином. Они, пожалуй, были белые, но белизной какой-то подозрительной, с переливом в желтизну разных оттенков; на концах пальцев оставались сплющенные кончики, которые никак не хотели налезать на пальцы. Мне казалось,—все смотрят па мои перчатки и тайно смеются; перчатки

эти лишали меня развязности, лишали разговора, я ухмылялся напряженно и глупо, говорил таким тоном, что никому не хотелось мне отвечать (бывает такой тон). Танцовал, как мешок на ножках... Какая мука!

И вдруг осияла меня мысль: дома у меня есть два рубля с лишним, лайковые перчатки стоят три рубля; девятый час; если с'езжу домой на извозчике, то еще поспею в магазин. И помчался на извозчике домой. Рассказал маме, умолил ее дать мне рубль взаймы. Поскакал назад по Киевской. Опоздаю в магазин или нет? Пропали тогда деньги, потраченные на извозчика! Гаснут в витринах огни, магазины запираются один за другим... Ура! Во французском магазине «A bon marché» свет,—еще отперто! Купил чудесные белые лайковые перчатки. Приехал назад. Вошел в бальную залу. Перчатки—изящные, ослепительно белые, плотно охватывают всю кисть и каждый палец. И как будто волшебство случилось: вдруг я стал приятно-развязен, остроумен, жив, в танцах явилась грация, в приглашении дам—смелость и уверенность. И началось веселие.

В одиннадцатом часу все толпились у окон и смотрели. Где-то высоко наверху,—гимназия была на Старо-Никитской, недалеко от Кремля, в самой котловине,—где-то вверху на горе пылал дом. Как будто в нашей местности. Приехала лошадь за моим одноклассником Добрыниным,—горел их дом вверху Старо-Дворянской улицы, за углом на пол-квартала выше нашего дома. Поглядели, как на горизонте огромным факелом вздымался огонь, переходя в огненно-светящийся дым, как полоса этого дыма, все чернея, уходила над крышами и садами вдаль. Потом опять пошли танцовать.

В третьем часу ночи я возвращался домой, полный впечатлений от знакомства с директорской дочкой, похожей на Машу Плещееву, от конфектных угощений, и главное: все учителя напились пьяные! Никогда я их в таком виде не видал. Томашевич размахивал руками, хохотал и орал на всю залу; Цветков танцовал кадриль и был так беспомощен в grand rond, что гимназист сзади держал его за талию и направлял, куда надо итти, а он, сосредоточенно нахохлившись, послушно шел, куда его направляли.

Не заходя домой, я сбегал еще посмотреть на пожар. Вместо дома Добрыниных была дымящаяся груда развалин, пахло гарью,

в дыму факелов блестели каски пожарных. Тут был уютный двухэтажный домик с маленькими окнами; весною из этих окон неслись нежные звуки рояля; стройная и высокая красавица, сестра моего товарища, играла Шопена. В толпе зевак говорили, что Добрынин,— богатый купец, член городской управы,—давно собирался построить себе дом побольше и поджог этот, чтобы очистить место и получить страховую премию.

Я в ужасе возражал:

— Но ведь могли загореться соседние дома!

— Ну к что ж! А ему до того какое дело!

— Штраховку получит полностью, везде други-приятели его сидят.

Дверь мне отворила мама. Папа уже спал. Я с увлечением стал рассказывать о пьяных учителях, о поджоге Добрыниным своего дома. Мама слушала холодно и печально. В чем дело? Видимо, в чем-то я проштрафился. Очень мне было знакомо это лицо мамино: это значило, что папа чем-нибудь возмущен до глубины души, и с ним предстоит разговор. И мама сказала мне, чем папа возмущен: что я не приехал домой с бала, когда начался пожар.

Папа утром прошел мимо меня, как будто не видя. И несколько дней совсем не замечал меня, в моем присутствии его лицо становилось каменно-неподвижным. Наконец, дня через четыре, когда я вечером пришел к нему прощаться, он, как все эти дни, холодно и неохотно ответил на мой поцелуй и потом сказал:

— Мне с тобой, Виця, нужно поговорить.

И отчитал меня. Когда мне понадобились перчатки, я сейчас же помчался домой, чтобы взять деньги, а когда так близко от нашего дома случился пожар, я пальца о палец не ударил и продолжал себе танцовать.

— Да я знал, что пожар у Добрыниных, что это далеко.

— Как далеко? Всего пол-квартала, ветер был как раз в нашу сторону. Да и как ты вообще мог оттуда судить, нужен ты или ненужен? Всякий чуткий мальчик, не такой черствый эгоист, как ты, сейчас же бы бросился домой, сейчас же спросил бы себя,—не беспокоятся ли мама с папой, не понадоблюсь ли я дома? А у тебя только и заботы, что о белых лайковых перчатках.

Взвешивая теперь все обстоятельства, я думаю: совсем не к чему было мне приезжать с бала; я вправду вовсе не был нужен дома,— а просто я должен был проявить чуткость и заботу, тут больше была педагогия. Но тогда мне стало очень стыдно, и я ушел от папы с лицом, облитым слезами раскаяния.

Через полтора года на месте добрынинского пожарища вырос просторный двухэтажный дом с огромными окнами, весною они были раскрыты настежь, и из них далеко по тихой улице опять неслись нежные и задумчивые мелодии Шопена.

Поэтический мой гений, создав первый стихотворный продукт, о котором я уже рассказывал, опочил на целых полтора года. Снова пробудился он 28 мая 1882 года.

Если первое мое стихотворение было плодом трезвого и очень напряженного труда, то второе было написано в состоянии самого подлинного и несомненного вдохновения. Дело было так. Я перечитывал «Дворянское Гнездо» Тургенева. Помните, как теплою летнею ночью Лаврецкий с Леммом едут в коляске из города в имение Лаврецкого? Едут и говорят о музыке. Лаврецкий уговаривает Лемма написать оперу. Лемм отвечает, что для этого он уже стар.

— Но если бы я мог что-нибудь сделать,—я бы удовольствовался романсом; конечно, я желал бы хороших слов...

Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.

— Например,—проговорил он, наконец,—что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы чистые звезды?

Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.

— Вы, звезды, чистые звезды,—повторил Лемм.—Вы взираете одинаково на правых и виновных... но одни невинные сердцем... или что-нибудь в этом роде... вас понимают, то-есть, нет,—вас любят. Впрочем, я не поэт,—куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.

Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.

— И вы тоже,—продолжал он постепенно утихающим голосом,—вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить... Нет, это все не то! Я не поэт. Но что-нибудь в этом роде...

— Мне жаль, что и я не поэт,—заметил Лаврецкий.

— Пустые мечтанья! — возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.

Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды...»—шептал старик.

Лемм чувствовал, что он не поэт, и Лаврецкий то же самое чувствовал. Но я—я вдруг почувствовал, что я поэт! Помню, солнце садилось, над серебристыми тополями горели золотые облака, в саду, под окнами моей комнаты, цвели жасмин и шиповник. Душа дрожала и сладко плакала, светлые слезы подступали к глазам. И я выводил пером:

ЗВЕЗДЫ.

Звезды, вы звезды,
Вы, чистые звезды!
Скажите мне, звезды,
Зачем вы блестите
Таким кротким светом,
Таким тихим светом,
Прекрасным огнем?

* * *

Звезды, вы звезды!
Широко, привольно,
Прекрасно, просторно
Вам там в небесах!
Скажите ж мне, звезды,
Зачем вы сияете,
Будто бы что-то
Мне тут обещаете?..

И много еще, много шло строф... Если бы тогда у Лемма были эти мои стихи, он, наверно, написал бы прекраснейший романс.

Никогда я ничего впоследствии не писал в состоянии такого поэтического волнения и почти экстаза. И я в то время искреннейшим образом думал, что это было—*мое* вдохновение.

Я сшил тетрадку, на первой странице написал:

Полное Собрание Стихотворений

БОРИСА ГРОЗИНА

(псевдоним)

и переписал в нее оба стихотворения.

Кончились переходные экзамены из шестого класса в седьмой. Это были экзамены очень трудные и многочисленные,—и письменные, и устные. Сдал я их с блеском и в душе ждал, но боялся высказать громко: дадут награду первой степени. Очень хотелось, как в прошлом году, получить книги, да еще в ярких, красивых переплетах.

31 мая был последний экзамен, по истории. Наш классный наставник и учитель латинского языка, Осип Антонович Петрученко, об'явил нам, что о результатах экзаменов мы узнаем 2 июня, что тогда же будут выданы и сведения. И прибавил:

— Господа! Вы за время экзаменов очень отрастили себе волосы. Извольте подстричься. Кто придет второго июня с длинными волосами, не получит сведений.

Осип Антонович был очень строгий, и мы перед ним трепетали. Но этого его приказания никто, конечно, не принял всерьез. Я имел неосторожность рассказать дома при папе про его слова. Папа сказал:

— Обязательно подстригись.

— Ну, папа, вот еще! С какой стати! Все равно, наступают каникулы, мы на-днях уезжаем в деревню... Зачем это?

— Да отчего же тебе не подстричься, раз классный наставник велел? Распоряжение вполне разумное...

— Да, наконец,—смешно. Подумают,—я испугался, что не дадут награды, и подстригся, чтоб угодить начальству...

— Подумают? А тебе что до этого? Вспомни «Посадника»:

Своего,
А не чужого бойся нареканья:
Чужое вздор!..

И убедил-таки меня. Т.-е., скорее,—силою морального своего давления заставил меня подстричься. Да как подстричься! У парикмахера я смог бы соблюсти красоту, но папа стриг нас сам. И остриг он меня под гребешок, догола!

Пришел я в гимназию с мукою и стыдом. Конечно, никто, кроме меня, не остригся. Меня оглядывали с усмешкой,—пай-мальчик, поспешивший исполнить приказание начальства.

Пришел Петрученко, стал читать результаты экзаменов и раздавать сведения,—кто переведен, кто оставлен, кому—поверочные испытания. Дошел до меня.

— Смидович... *без* поверочных испытаний,—протянул он. Помолчал, помучил меня ожиданием и закончил с шутливою торжественностью:—и, в награду за его великие заслуги, переводится в седьмой клас с наградою первой степени.

Я подошел к столу получить сведения. Петрученко взглянул на меня, изумленно поднял брови и усмехнулся в пушистую свою бороду.

— Вот остригся!.. Какое образцовое послушание!

Глаза смотрели насмешливо, и весь класс захохотал.

Когда я был в шестом классе, родители мои купили имение Владычня, за версту от станции Лаптево, Московско-Курской железной дороги, в тридцати верстах от Тулы. Десятин в двести.

Покупка раньше долго обсуждалась. Папе рисовались самые блестящие перспективы: имение—два шага от станции, можно развить молочное хозяйство, широко заложить огороды, продукты доставлять в Тулу. Здоровый летний отдых для детей. Купили за десять тысяч,—все, что у папы было сбережений.

Наперед скажу: предприятие, как все наши коммерческие начинания, дало жестокие убытки. С самого начала все заведено было самое лучшее,—инвентарь живой и мертвый. С самого начала стали делаться всякие нововведения, вычитанные в сельско-хозяйственных книгах. А собственного опыта в сельском хозяйстве не было никакого. Засеяли пол-десятины маком. Очень выгодный продукт. Зимою мы с ним все сильно мучились,—высеивали из головок семя. Не знаю только, оказалось ли выгодным: больше мака не сеяли. Помню еще огромные, в сажень высоты, растения с жирными длинными листьями, «конский зуб»,—особый сорт нес'едобной кукурузы. Ее пластами складывали в ямы, пересыпая солью. Называлось *силос*. Великолепный зимний корм для скотины. Опять-таки не знаю, оказался ли он великолепным. Помню только,—он очень противно пахнул плесенью, скотина ела его с отвращением. Из мужиков, видевших этот корм, никто не соблазнился его перенять, да и мы больше не повторяли опыта. Все обходилось очень дорого, потому что все покупалось самое лучшее. Рабочим платилось хорошее жалование, кормили их очень хорошо.

Через три года папе стало совершенно невмоготу: весь его заработок уходил в имение, никаких надежд не было, что хоть когда-нибудь будет какой-нибудь доход; мама почти всю зиму проводила в деревне, дети и дом были без призора. Имение, наконец, продали,—рады были, что за покупную цену,—со всеми новыми постройками и вновь заведенным инвентарем.

Когда вспоминаю Зыбино: сладкое безделье в солнечном блеске, вкусная еда, зеленые чащи сада, сверкающая прохлада реки Вашаны, просторные комнаты барского дома с огромными окнами. Когда вспоминаю Владычню: маленький, тесный домик с бревенчатыми стенами, плач за стеною грудной сестренки Ани, простая еда, цветущий пруд с черною водою и пьявками, тяжелая работа с утренней зари до вечерней, крепкое ощущение мускульной силы в теле.

Было у нас три работника, и я с ними был четвертый. Вместе с ними вставал, с ними пахал, косил, возил сено и снопы. Приятно было обучиться всему простому, что знает всякий мужик, и перед

чем барин стоит в полной беспомощности. Приятно было уверенно надвигать на морду лошади хомут, оправлять шлею, приладив к гужам дугу, стягивать супонью хомут, упершись в него ногой. И приятно было теперь не чувствовать к себе того презрения, какое я ощущал в поместьях моих дядей-помещиков, когда праздно смотрел на работающих.

И так сладостно помнится: косим с работниками и поденными мужиками лощину. Медленно спускаемся по откосу один за другим в запахе луговой травы, коса жвыкает, сзади у пояса позвякивает в бруснице брусок, спереди и сзади шипят соседние косы. Потом внизу—резкий запах срезаемой резики и осоки, из-под сапог выступает ржавая вода. И, закинув косы на плечи, с ощущаемой на спине мокрой рубахой, гуськом поднимаемся вверх.

— Ребята, курить!

Вынимаем кисеты, закуриваем трубки. За дубовыми кустами, над желтеющею рожью поднимается темно-синяя туча. Дует в потное лицо прохладный, бодрящий ветер, стоишь ему навстречу и жадно дышишь... Ах, хорошо!

Или едем на двух телегах с приятелем моим Герасимом за снопами на дальние десятины. Сидим, болтаем, курим в передней телеге, задняя идет порожнем. Навиваем снопы,—Герасим на телеге принимает, я глубоко всаживаю деревянную двурогую вилку в сноп под самым свяслом, натужившись, поднимаю сноп на воздух,—тяжелые у нас вяжут снопы!—и он, метнув в воздухе хвостом, падает в руки Герасиму, обдав его зерном. Во рту прелестная, особенная горечь ржаной пыли. Увязываем воза. Вокруг—желтая щетина жнивья, уставленная крестцами копен, в голубой дали—рощи и деревни, белые церкви; поезд, как червяк, ползет от горизонта по далеким овсам. И едем, развалившись на снопах наверху колыхающихся возов.

Сумерки. Распряжешь и напоишь свою лошадь, уберешь упряжь, выкупаешься в верхнем пруду и идешь домой ужинать. Тело, омытое от пота и пыли, слегка пахнет прудовою тиною, в мускулах приятная, крепкая истома. Мама особенно ласково смотрит.

— Ах ты, мой работничек!

Ужинаем на террасе. Выпиваю рюмку водки,—и так потом вкусно есть и подогретый суп, оставшийся от обеда, и ячную кашу со сливочным маслом. А если еще мясо, так уж прямо райское блаженство. И потом чай пить. Ложишься спать,—только прикоснешься головою к подушке, и проваливаешься в мягкую, сладостную тьму.

Герасим—стройный парень, высокий и широкоплечий, с мелким, веснушчатым лицом; волосы в скобку, прямые, совсем невьющиеся; на губах и подбородке—еле заметный пушок, а ему уж за двадцать лет. Очень силен, и держится прямо, как солдат. Он из дальнего уезда, из очень бедной деревни. Ходит в лаптях и мечтает купить сапоги. Весь он для меня, со своими взглядами, привычками,—человек из нового, незнакомого мне мира, в который когда заглянешь—стыдно становится, и не веришь глазам, что это возможно.

Раз он мне рассказывал про деревенские свадьбы, а потом говорит:

— Господские, небось, не такие бывают. У вас, небось, на свадьбах два раза в день чай пьют.

Мне совестно было сказать ему, что мы и вообще каждый день пьем два раза чай.

Другой раз, когда он рассказывал о ярмарках, я спросил:

— Наверно, подсолнухов тогда себе накупите, жамок?

Жамки—это грошовые мятные пряники. Герасим ответил:

— Нет, жамок мы не покупаем, дорого.

Однажды зимою мама собрала в деревенскую залу работниц, кухарку, Герасима, поручила им чистить мак. Они чистили, а мама им читала евангелие, а потом напоила чаем. Бабы очень интересовались, расспрашивали маму; Герасим все время молчал, а на утро сказал бабам:

— Кабы барыня нам всегда по побасенке читала, да чаем поила, я бы каждый день готов мак чистить.

— Что ты, дурак,—какие побасенки? Это евангелие, святая книга!

— Ну, что ж, ну, святая! А все побасенки: помер человек, уж вонять начал,—вдруг стал живой и пошел! Ин-те-рес-но!

Раз мы ездили с Герасимом обкашивать межи на корм коровам. Не помню, почему, зашла речь о причастии. Я его спросил, причащался ли он когда-нибудь?

— А что такое—«причащался»?

— Ну, исповедываться, причащаться... Бывал же ты в церкви?

— Да, раз меня мамка водила. Далеко у нас церковь от деревни нашей, четыре версты.

— Ну, что ж, давали тебе что-нибудь проглотить?

— Проглотить? Нет, ничего не давали глотать.

— Что ж ты там делал?

— Что делал! Молился.

— О чем молился?

— Как о чем? Стоял, крестился, вот этак кланялся.

Герасим начал быстро кивать головой, встряхивать волосами и кланяться.

— Чего ж ты у бога просил?

— Просил?—Он недоверчиво улыбнулся.—Что у него просить-то? Нешто он услышит? Он далеко, на небе.

— Вовсе нет. Бог везде,—и на небе, и на земле, и здесь вот, около нас.

— Что дурака-то валяешь? Где он тут? Отчего его не видать?

Меня все это очень поразило, потому что из всех работников Герасим выделялся своим благочестием: всегда ел без шапки, крестился перед едою, даже когда предстояло с'есть пару огурцов. Утром встают работники, даже лба не перекрестят. А Герасим стоит около садовой ограды, лицом к восходящему солнцу, и долго молится: широко перекрестится, поклонится низко и, встряхнув волосами, выпрямится. И опять, и опять кланяется.

Я спросил:

— О чем же ты утром молишься,—вот когда у оградки стоишь?

— Стоишь, да стоишь. Крестишься, кланяешься, а сам думаешь: хорошо теперь барам,—спят себе. А ты вставай на работу!

— Зачем же ты тогда молишься?

— Как же не молиться? Грех.

Меня заинтересовало, знает ли что Герасим о загробной жизни. Я спросил:

— Ну, а что с тобой будет, когда ты умрешь?

— Не знаешь, что ли? Закопают в землю, земля в рот напихается. Нехорошо будет.

— А душа твоя куда денется?

— Какая душа?

— Ну, твоя душа?

— Да что это—душа?

— Ну, тело твое в землю закопают, ну, а то, чем ты... чувствуешь, думаешь, это—душа. Она на небо полетит.

— Что ж, она с воробья будет, ай с ласточку? Видал ты ее когда?

— Да нет же, ее нельзя видеть, она такая... невидимая...

— Не видал, значит? А почем знаешь, что есть?

Я растерялся и не знал, что сказать, а Герасим допрашивал:

— С перьями она, аль так, голенькая?

— Да нет... Вот, чем ты думаешь, чувствуешь, говоришь...

— А ты вот еще по-немецкому и по-французскому говоришь. Значит, у тебя три души?

— Да нет, все одна же.

Не мог я к нему подойти, не мог заговорить таким языком, чтоб он хотя бы понял, о чем я говорю. Я стал рассказывать, что люди, которые на земле жили праведно, которые не убивали, не крали, не блудили, попадут в рай,—там будет так хорошо, что мы себе здесь даже и представить не можем.

— Что ж там, и подсолнух будет?

— И подсолнух.

Недоверчиво:

— И жамки?!

— И жамки.

Герасим подумал.

— Да туда, чай, только господа одни попадут?

— Напротив, бог сказал, что богатому гораздо труднее туда попасть, чем бедному.

Герасим еще подумал и решительно сказал:

— Нет, бедных туда не пустят. Господ одних. Знаем мы.

Пел он очень хорошо. И очень много знал хороших песен, пахнувших полем, землею и деревней. Захватит подбородок ладонью и затянет:

— Посиди, Доня! Потерпи горе!
— Родной батюшка, насиделася,
Печаль-горюшка натерпелася,
Худой славушки наслушалась...

И такая тоска в голосе, и такая чувствуется горькая драма деревенской девушки...

А то еще у него была песня,—очень она к нему шла:

Ты богач, богач-судьяга!
Ты на этом свете живешь скряга
И помрешь, как сукин сын.
Твою душу черти в ад потошшут,
Зададут ей трепака.
А нам нечего бояться,
Мы процентов не берем...

Силен он был необычайно. Но еще его сильнее был другой наш работник, Петр. Расскажу, кстати, и о нем. Высокий, сутулый, с длинными руками гориллы и маленькой головой, на подбородке отдельные жесткие черные волосики. Когда-то он у нас был кучером и у нас же женился на жившей у нас молодой няне, Кате. Эта Катя была даровитая девушка, она у нас выучилась читать, писать и выучилась свободно говорить по-немецки. Меня поражали их отношения в то время, когда он ухаживал за нею. Шум на всю кухню, возня, хохот, шутливые драки; шутливость была для меня совсем непонятная: Катя изо всей силы била его поленом по спине или в сенях обольет целым ведром воды, и Петр выскакивает из сеней счастливый, смеющийся и весь насквозь мокрый. Поженившись, они сначала жили хорошо, но потом Петр начал пить, ушел в крюч-

ники. Катя жила кухаркой у нашей бабушки. Иногда, раз в один-два года, вдруг являлся Петр. Если трезвый, то робкий и смирный, просил у Кати прощения; если пьяный, то бил ее жестоко, до крови и потери сознания, насиловал и, обрюхатив, исчезал. Недавно он явился с Волги, сказал маме, что бросил пить, и нанялся к нам в работники. Он был для меня по всем рассказам страшный человек. И очень я удивился, когда ближе узнал его и увидел, что это смирнейший и добродушнейший человек, которого с большим только трудом можно было вывести из терпения. Был у нас одно время работник Дмитрий, лихач и нахал, не знавший о чудовищной силе Петра. Он изводил Петра насмешками и издевательствами, тот все терпел. Раз за ужином,—я ужинал с ними,—Дмитрий ударил Петра по лбу деревянной ложкой. Петр вскочил, огромными своими ручищами сгреб Дмитрия через стол «за виски» и наклонил его лицо над столом. Такую в этом силищу почувствовал Дмитрий, что испуганным, жалостно-бабьим голосом вдруг запросил:

— Пе-етенька! Отпусти! Больше не буду!

Петр ткнул его два раза носом в стол и отпустил.

Эти два богатыря,—Герасим и Петр,—изнывали от избытка своей силы; как Святогору, грузно им было от их силушки, как от тяжкого бремени. Проработав неделю тяжелую работу, они воскресными вечерами ходили по полям и тосковали. Помню один такой вечер, теплый, с светящимися от невидимой луны облаками. Мы с Петром и Герасимом сидели на широкой меже за лощинкой, они били кулаками в землю и говорили:

— Эх! Кажется, доведись,—всю бы землю-матушку с оси своротили бы!

Петр, конечно, кончил жизнь босяком. Дальнейшая судьба Герасима была странная. Когда мы продали имение, он пошел в ломовые извозчики. Я не раз видел его в Туле на Томилинской или Миллионной улице: сидит на грохочущем ломовом полке, размахивая концом вожжей, подгоняет бегущую тяжелою рысью ломовую лошадь,—все такой же прямой, стройный и безбородый. Потом я его надолго потерял из виду. В начале девятисотых годов, высланный из Петербурга, я жил в Туле. И вдруг ко мне пришел

Герасим. Худой, загорелый, с ввалившимися щеками, все такой же прямой и безбородый; русые, плоские волосы до плеч, рваный зипун, котомка за плечами; ноги худые, как палки; на них лапти. Голос смиренный. Он мне рассказал: то ли надорвался, то ли от болезни какой,—у него стали худеть и слабнуть ноги, никакой работы делать не мог, ноги высохли. Я пощупал,—правда, как будто кости скелета. Ходит теперь по святым местам.

— Как же ты ходишь с такими ногами?

— Хожу ничего, ходить я могу. Угодники помогают.

Я ему предложил показать его докторам, устроить в больницу.

— Нет, уж лёжено, смотрено. Нет от них помощи. Только молитвами угодников и держусь.

Я ему дал на прощанье десять рублей. Он смиренно поклонился в пояс и ушел.

С седьмого класса я перестал интересоваться отметками и наградами,—по настоящему перестал, а раньше только притворялся. Учил из уроков то, что было интересно, неинтересное готовил коекак, а иногда даже не знал, какие уроки заданы. Но в предыдущих классах очень был заложен основательный фундамент, и он помогал мне благополучно выкарабкиваться из затруднений.

Было не до того, чтоб уроки учить. Передо мною распахнулась широкая, завлекающая область, и я ушел в нее всею душою,—область умственных наслаждений. Для меня этот переворот связан в воспоминаниях с Боклем. У папы в библиотеке стояла «История цивилизации в Англии» Бокля. По имени я его хорошо знал. Это имя обозначало у нас самого умного, глубокомысленного и труднопонимаемого писателя. Читать его могут только очень умные люди. Генерал у Некрасова говорит в балете поэту:

Не все ж читать вам Бокля.
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля.
Купите-ка бинокль!

Иногда к нам приезжал и останавливался на день, на два мамин брат, дядя-Саша, акцизный чиновник из уезда. Перед обедом и ужином он всегда выпивал по очень большому стаканчику водки и просиживал в клубе за картами до поздней ночи. У него была светлорыжая борода, отлогий лоб и про себя смеющиеся глаза; я чувствовал, что весь дух нашей семьи вызывал в нем юмористическое уважение и тайную насмешку. Про Бокля он откровенно выражался так:

— Когда мне ночью не спится, я открываю Бокля, прочитываю две страницы—и сейчас же засыпаю самым глубоким сном.

Так вот. Раз задали нам сочинение: «Влияние географических условий на характер народа». Совершенно случайно,—не помню как,—натолкнулся я в папиной библиотеке на Бокля, раскрыл книгу и увидел главу: «Влияние физических законов». Как раз мне на тему. Принес к себе, со страхом попробовал читать: все равно, ничего не пойму! Ведь,—Бокль!

И вот вдруг,—как будто на широких, сильных крыльях я поднялся на воздух и уверенно полетел ввысь. Поднимался, и в то же время дивился, и не верил,—неужели так легко и так просто лететь на такой высоте? Какое это было наслаждение! Строго, ясно и ярко рисовал Бокль влияние климата, пищи, почвы и общего вида природы на характер человека, как под их действием совсем различно складывались культуры индийская, арабская, эллинская. Всё прочно становилось на свое место, все четко обрисовывалось в своей строгой обусловленности и неслучайности. И главное было: я убедился, что уже могу читать серьезные, умные книги.

Теперь каждый вечер, выучив наскоро уроки, я садился за Бокля (начал его с первой страницы), закуривал и наслаждался силою умственной работы, и что вот я какую читаю книгу,—Бокля!—как будто уже студент; и что табачный пепел падает на книгу (Некрасов:

Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной).

Эти самостоятельные занятия настолько были нужнее, настолько завлекательнее, чем гимназическая труха, что я только самое необходимое время стал отдавать официальной науке. И всё вечера читал.

Читал Добролюбова (Белинского уже раньше много читал), Милля—«О подчиненности женщины» и «Утилитарианизм», Молешотта—«Физиологические картины», Льюиса-Милля—«Огюст Конт». Несколько раз пробовал начать историю философии Бауэра, но каждый раз на элеатах пасовал. Только Писарева не читал: папа так настойчиво и с таким страданием просил меня его не читать, что я не решался нарушить его просьбы. Впрочем, раз в гимназии, на большой перемене, жадно прочел статью Писарева «Пушкин и Белинский»,—товарищ дал па полчаса. Осталось сладко-обжигающее впечатление тайно-вкушенного запретного плода, или, вернее,—как будто дьявол торопливо наклонился к уху и успел шепнуть: «Будете, как боги...»

По беллетристике русской и иностранной читал я очень много.

Главная наша улица, тульский Невский Проспект, называлась «Киевская». Она начиналась внизу у Кремля, шла вверх и за заставою переходила в киевское шоссе, и по нем, правда, можно было дойти до Киева.

Самая бойкая часть Киевской была между Посольской и Площадной улицами. Тут были самые лучшие магазины. Тут по вечерам гуляла публика. Офицеры, гимназисты, молодые чиновники, приказчики, барышни. Смех, гул голосов, остроты. Особенный этот искусственный смех, каким барышни смеются при кавалерах, и особенный молодецки-развязный тон кавалерских острот.

Прыщеватый молодой человек в ярко-зеленом галстуке говорил хихикающей барышне:

— Вы меня извините, что я вам вчерась не морганул: очень левая пятка болела!

— Хи-хи-хи! При чем тут пятка?

— Очень болела. Уж извините!

Я глубоко презирал всю эту публику. Когда случалось вечером проходить по Киевской, я шел спешащим, широким шагом, сгор-

бившись и засунув руку глубоко за борт шинели, с выражением лица в высшей степени научным. И, наверное, все с почтением поглядывали на меня и стыдились своей пошлой веселости. И, наверное, каждая барышня втайне думала:

— Вот, если бы, вместо франтоватого офицерика с глупой улыбкой, мне бы итти рядом с этим сутулым, умным гимназистом! Но нет! Я ему буду неинтересна...

И она горько вздыхала. А я презрительно нес свою ученую сутулость дальше, сквозь смеющуюся, веселящуюся, шумную толпу.

Да, в пятнадцать лет я гордился своею сутулостью. А в пятьдесят,—в пятьдесят я старался держаться попрямее, и мне противно было глядеть на крючком согнутые спины.

Однако вся гордость своею ученостью и умственностью моментально выскакивала у меня из души, как только я вспоминал о Мерцалове. Он был мой одноклассник, сын крупного тульского чиновника. В младших двух классах я был первым учеником первого отделения, а он второго. В третьем классе оба отделения слились. Стал первым учеником я,—но только потому, что с этого времени Мерцалов стал выказывать глубочайшее презрение к гимназической науке и хорошим отметкам.

Большая, прекрасно сформированная голова, ровный, матово-белый цвет лица, почти белые волосы. Он никогда не бегал, не играл. На переменах, когда мы бились на «сшибалке» или бегали вперегонки он степенно расхаживал с кем-нибудь вдоль забора и «беседовал». Товарищи относились к нему с невольным почтением, более сильные не смели его задирать. Прозвище ему было—Сократ. У всех у нас, у других, прозвища были куда не такие лестные. Меня, например, называли «пузырек с медициной»: пузырек—за малый мой рост и округлость, с медициной—в виду профессии моего отца. А Мерцалова звали—Сократ.

Одно время он приблизил меня к себе, мы года полтора-два ходили вместе из гимназии, а по переменам прохаживались вдоль

забора. Когда я выражал желание пойти «посшибаться», он с насмешкою спрашивал:

— Неужели тебе интересно заниматься таким ребячеством?

И мы продолжали ходить вдоль забора, и он говорил мне о Белинском, о Герцене, посмеивался над Пушкиным и без особого почтения говорил даже о царе. Помнится, мы тогда были в четвертом классе.

Постепенно Мерцалов стал относиться ко мне с большим раздражением, придирался к каждому слову, высмеивал меня,—видимо, во мне разочаровался, и вскоре совсем отставил меня от себя. А сблизился с Буткевичем Андреем,—он в пятом классе остался на второй год, и мы его нагнали. У него тоже была очень большая голова с выпуклым лбом, глаза были умные, внимательно вглядывающиеся, а брюки очень короткие и узкие. Поэтому вид у него был странный: большая голова, длинное туловище и короткие ноги в узких и коротких брюках. Теперь они вместе всегда ходили с Мерцаловым, и с ними третий еще,—Новиков Алексей; этого я очень не любил, потому что он все делал на-показ.

Они с увлечением играли в шахматы и, когда шли из гимназии, играли на ходу, без доски. Я никак не мог понять, как они могут запоминать постоянно меняющееся расположение фигур. Новиков шел, хвастливо оглядывался и на всю улицу выкрикивал:

— Ферзь—a1—c3!

Они все трое сидели в классе вместе; выражали на лице насмешливое презрение к тому, что говорили учителя. За честь считали по латинскому и по греческому языку знать еле-еле на тройку, а по математике, физике, истории знать гораздо больше, чем требовалось. Их отношение ко мне очень меня обижало, и самолюбие мое страдало жестоко. Вот что нахожу у себя в тогдашнем дневнике:

18 августа 1882 г. Среда.

Никогда из всех товарищей никто мне так не не нравился, как Мерцалов и Новиков. Надо заметить, что они корчат из себя бог знает что и считают себя самыми умными учениками в классе, и если они не первые

ученики в классе, то это только потому, что они не хотят заниматься такими глупостями, как латинский или греческий языки, изучение которых они предоставляют «зубриле» Смидовичу. Сегодня учитель немецкого языка Густав Федорович Келлер спросил нас, хотим ли мы переводить Гете, Шиллера или Лессинга, и перечислял их сочинения, которые мы можем переводить. Говорили с ним только мы трое, а все остальные молчали. Что я одобрял, то они в один голос спешили отвергнуть. Между прочим Новиков начал просить у Густ. Фед-ча, чтобы переводить «Фауста» (!) (знай, мол, наших!); в прошлом году мы переводили отрывок из него, и этот кусочек строчек в двадцать мы переводили недели три-четыре,— так был он труден. Попросил он это, разумеется, единственно для того, чтобы пофорсить предо мной,—где тебе, дураку, понимать «Фауста»! (Не следует забывать, что они сердиты на меня за то, что я один из всех перешел в седьмой класс с наградой, да еще первой степени)... Зовут ужинать...

В седьмом классе Мерцалов самостоятельно прошел диференциальное и интегральпое исчисление. А на уроке истории раз случилось так. Учитель Ясинский рассказывал о Сократе, о его значении в философии. Вдруг Мерцалов поднялся и начал возражать. С Сократа перешел вообще на философию, посыпались имена: Платон, Аристотель, Лейбниц, Декарт, Кант... Мерцалов доказывал, что философская мысль, становясь на дорогу метафизики, неизменно оказывалась бесплодною и, совершив круг, возвращалась к исходной точке; в научной же мысли, в области положительных наук, каждый шаг являлся всегда шагом вперед. Позже, когда я прочел Льюиса, я понял, что Мерцалов просто излагал Льюиса, но тогда у всех нас было впечатлепие, что Мерцалов до всего этого дошел своим умом, что сам изучил всех этих Спиноз и Гегелей. Мы видели, что Мерцалов одолевает, и Ясинский подается. Он, как видно, Льюиса тоже не знал. Наконец, Ясинский замолчал и, напряженно

улыбаясь, слушал, как Мерцалов рисовал широкие круги, по которым метафизика каждый раз возвращалась к исходной своей точке. Потом Ясинский улыбнулся делано-снисходительно и сказал:

— Вы, Мерцалов, видно, читали по этому вопросу, к сожалению, только совершенно не переварили того, что прочли.

— Это, Иван Васильевич, не возражение. Вы мне докажите, в чем я ошибаюсь.

Звонок освободил Ясинского из угла, в который его загнал Мерцалов. Он взял журнал и вышел из класса, а мы дружно зарукоплескали Мерцалову.

С отцом своим Мерцалов почему-то разошелся и жил у учителя математики Томашевича,—квартира его была рядом с нашим домом, на углу Старо-Дворянской. Проходя по улице, я часто с завистью и почтением смотрел, как они там все трое сидят с Томашевичем, спорят с ним, как с равным, играют в шахматы.

Я казался себе в сравнении с ними глупым и мальчишкою, и даже переставал уважать себя, что читаю Бокля. И больно кололо душу, что я в их глазах—«зубрилка» и «первый ученик».

Кажется, в декабре месяце, часу в десятом вечера шел я от товарища домой по Ново-Дворянской улице,—заходил к нему отметить стихи из «Одиссеи», заданные к завтраму для перевода. Недалеко от нашей Верхне-Дворянской,—если снизу итти, по левую руку,—стоял небольшой двухэтажный дом. В середине нижнего этажа крыльцо башенкой выдается вперед, заняв почти весь тротуар, вправо и влево от башенки—по два окна. В этом доме жили Николаевы, у них была дочь, гимназистка немного старше меня, Катя, хорошенькая, смуглая брюнетка. Домами мы с ними не были знакомы, но у общих знакомых встречались, этою зимою я даже был у них раз на танцовальном вечере. По тогдашним правилам приличия барышни могли бывать только у тех, с кем родители были знакомы «домами». С «кавалерами» было проще: не хва-

тало для вечера танцоров,—офицеры и гимназисты приводили своих товарищей.

Левые окна нижнего этажа были освещены и завешены. Но в нижнем углу занавеска немного отвернулась. Я заглянул. Катя Николаева сидела у стола за книгой,—должно быть, урок учила. Лущила подсолнух и шелуху тщательно складывала кучкою на стол. У задней стены стояла кровать с откинутым одеялом,—белели простыни и обшитые кружевом подушки. У меня крепко забилось сердце, и кровью начало наливаться лицо: когда она станет ложиться спать, я могу все увидеть, — как она будет раздеваться, как ляжет в постель... Послышались вдали шаги по снегу, я отскочил. Прошла сгорбленная старушка. Я опять стал смотреть. Дождусь, чего бы ни стоило, хоть до часу ночи простою!

Вечером редки прохожие на тульских улицах. Но все-таки иногда скрипели вдали по снегу шаги,—я отлипал от окна,—беззаботным шагом шел по улице, поворачивал назад и опять приникал к низкому, почти квадратному окну с темной занавеской и светящимся уголком внизу.

Вдруг мне показалось, что кто-то стоит на углу Новой и Верхней Дворянской и пристально следит за мною. Ой, ой, попадусь,—какой будет позор! Вдруг он подкрадется, схватит меня, позвонится к Николаевым.

— Вот! Подглядывает в окошко вашей дочери!

Николаевы смотрят:

— Витя Смидович! Сын Викентия Игнатьевича! Ай-ай-ай, как не стыдно!

Я пошел вниз по улице. Решил сделать большой конец, прежде чем опять подойти к окну. Спустился до Площадной, по Площадной дошел до Петровской, поднялся до Верхне-Дворянской. На углу никого не было. С другой стороны подошел к дому Николаевых. Заглянул... Эх, ты, господи! Все пропустил! Катя уже лежала в постели, покрывшись одеялом, и читала. На ночном столике горела свеча. Я видел смуглые, нагие до плеч руки, видел, как рубашка на груди выпукло поднималась. Горячо стучало в висках, дыхание стало прерывистым... Не знаю, сколько времени прошло.

Катя приподнялась, потянулась к свече, я на миг увидел над кружевным вырезом рубашки две белые выпуклости с тенью между ними,—и темнота все захлопнула.

Я пошел прочь. Переводя дух, огляделся. Должно быть, уж поздно было. Нигде в окнах ни огонька, на улицах пустынная тишина. Шел, и душа была полна грешным, горячим счастьем: часто теперь буду ходить сюда, дождусь, что увижу, как она будет раздеваться...

В белой темноте зимней ночи навстречу мне шел высокий черный человек. Я сошел с тротуара на улицу, как будто мне нужно было на другую сторону. Человек круто повернул и пошел ко мне. Я отбежал.

— Послушайте!

— Чего вам надо?

— Да пойдите сюда! Отчего вы бежите от меня?

И пошел ко мне. Я еще отбежал.

— Да чего вам надо?

— Отчего вы от меня убегаете?

Вгляделся в меня и вдруг разочарованно воскликнул:

— Да это гимназист!—Рассмеялся, махнул рукой и пошел своей дорогой.

С бьющимся сердцем я пришел домой. Все уж спали. Взглянул на часы: второй час! В столовой под салфеткой остывшие котлеты с макаронами. Поужинал, лег спать.

Было на душе стыдно и страшно. Если бы я не догадался отбежать, он бы меня пристукнул, и я так бы и умер,—пакостный, грязный и развратный. Вспоминал: какая гадость! Но ярче становились воспоминания: прелестные нагие руки, выпуклости над вырезом рубашки... И с отчаянием я чувствовал: все-таки пойду туда еще и еще раз,—не будет силы воли удержать себя!

Потом несколько раз я ходил по вечерам к дому Николаевых. Но либо в окнах было темно, либо занавески были спущены аккуратно, и ничего не было видно. У меня даже мелькнула испуганная мысль: наверно, тогда кто-нибудь подглядел за мною из дома, и теперь они следят, чтоб нельзя было подглядывать. И когда я так подумал, мне особенно стало стыдно того, что я делал.

Вообще очень было стыдно. Решил на страстной, когда буду исповедываться, подробно во всем покаяться батюшке. И все-таки было тяжело и стыдно.

Раз вечером, в субботу, сидел я один у себя в комнате—и вдруг начал сочинять стихи. Голова горела, слезы подступали к горлу, по телу пробегала дрожь. Я курил, ходил по комнате, садился к столу, писал, опять ходил. В конце концов написал вот что:

О, боже мой, спаси меня
От искушенья... Нет! но силы
Мне дай, чтоб мог я побеждать
Все искушенья. Силы воли
Мне дай, чтоб мог я отгонять
Все злые помыслы, желанья,
Все недостойные дела...
Да, силы воли не дала
Судьба мне. Твоего созданья
Внемли мольбам, о, боже! Ты,
Один во всем, во всем лишь властный,
Не отвергай моей мольбы:
Да, боже, дай мне, дай мне силы
Пробиться честно до могилы
Чтоб, уж ногой в гробу стоя,
Я мог бы всем сказать, что я
Жил честно, целый век трудился
И умер гол, как гол родился.

Последние два стиха, когда они уже были написаны,—я сообразил,—не мои, а баснописца Хемницера: он себе сочинил такую эпитафию. Ну что ж! Это ничего. Он так прожил жизнь,—и я хочу так прожить. Почему же я не имею права этого пожелать? Но утром (было воскресенье) я перечитал стихи, и конец не понравился: как это молиться о том, чтоб остаться голым! И сейчас же опять в душе заволновалось вдохновенье, я зачеркнул последний стих и написал такое окончание:

... Я мог бы всем сказать, что я
Жил честно, целый век трудился,
Своею волею добился
Того, что смерти не боюсь,

Того, что с жизнью расстаюсь
Без сожаленья, без тревоги,
Простивши всех,—
И с думой лишь о боге.

Несколько дней после этого я носил в душе тайную, светлую радость и гордость. Перечитывал стихи и с удовлетворением говорил себе: «хорошо!»

Раз вечером, краснея и волнуясь, прочел их маме. Мама с удивлением спросила:

— Чьи это стихи?

— Мои.

— Что-о?

— Мои стихи.

— Да что ты говоришь? Неужели твои?

Она взволнованно и радостно пошла со мною в кабинет к папе. Я прочел стихи папе. Оба были в восторге. Папа умиленно сказал:

— Очень, очень хорошо, милый мой мальчик! Благослови тебя бог!

Перекрестил меня, — не по-нашему, тремя сложенными пальцами, а всею кистью, по-католически,—и крепко поцеловал.

Мама сказала:

— Перепиши мне и подари на память.

Вечером я сложил полулист хорошей, министерской бумаги пополам и на заглавной странице большими, красивыми печатными буквами вывел чернилами:

МОЛИТВА

А под заглавием:

С т и х о т в о р е н и е В. В. С м и д о в и ч а

Посвящ. Ел. П. Смидович.

Тула.

1882.

И всю эту страницу разрисовал расходящимися от заглавия красивыми завитушками, а загибы их украсил маленькими листьями.



Так, я видел, часто делались заглавия на нотах. На следующей странице по транспаранту, большими, правильными буквами, как на уроке чистописания, переписал стихотворение.

И в тот же вечер отдал маме. Она перечитала стихи и с тем лучащимся из глаз светом, который мы у ней видали на молитве, заключила меня в свои мягкие об'ятия и горячо расцеловала. И взволнованно сказала папе:

— Нет, тут чувствуется самый настоящий поэтический талант!

Стихи, конечно, были чудовищно плохи, даже для пятнадцатилетнего мальчика. Папу и маму они подкупили своим содержанием,— особенно потому, что в то время я уже очень напористо высказывал свои религиозные сомнения. Но нужно и вообще сказать: как раз к художеству и папа, и мама были глубоко равнодушны; на произведения искусства они смотрели, как на красивые пустячки, если в них не преследовались нравственные или религиозные цели. В других отношениях мое детство протекало почти в идеальных условиях: в умственной области, в нравственной, в области физического воспитания, общения с природою,—давалось все, чего только можно было бы пожелать для ребенка. Но в области искусства была полная пустота.

Правда, девочки учились играть на рояли, мы с братом Мишею—на скрипке. Но учителя и учительницы были бездарные, успехи наши—барабанные, а родители этого совсем не замечали. Фета и Тютчева я знал только по стихам в хрестоматиях. О Тютчеве никогда никто не говорил, а о Фете говорили только, как об образце пустого, бессодержательного поэта, и повторяли эпиграмму, что-то вроде: «Фет, Фет, ума у тебя нет!» В журнале «Русская Речь», который папа выписывал, печатались исторические романы Шардина из времен Екатерины II, Павла и др. Папа серьезнейшим образом доказывал, что они гораздо выше «Войны и Мира»: что это за нелепая фигура—Пьер Безухий! Как это возможно, чтобы штатский человек во время бородинской битвы мог бродить по полю

сражения! Что это за размазывание всяких мелких ощущеньиц и размышлений в разгар боя! У Шардина все гораздо сильнее и естественнее. Нечего уже говорить о Сенкевиче. «Огнем и мечом», например,—какой чувствуется пафос войны!

Странно и неловко мне это писать, но я ясно помню. Мне было уже лет двадцать пять, а может быть, и больше, когда в одном чеховском рассказе я прочел слова о бездарных домах, которые строил какой-то архитектор в провинциальном городе. Что за бездарные и талантливые дома? Стены, крыша, окна, двери,—вот что у всех есть и что от всех требуется. Ну, да, там—Парфенон, миланский или кельнский соборы,—это понятно. Но наши тульские дома или церкви! Я (сознательно) совершенно не воспринимал красоты старинных наших городских и деревенских церквей, дворянских усадеб и вещей в них. Да, многое было красиво. Но мне представлялось, что это сделалось совсем случайно, не нарочно. Как случайно встретишь в лесу красивое или безобразное дерево.

В нашем доме, вот тут в зале, около пианино, однажды стоял Лев Толстой. Папа так, между прочим, рассказывал об этом, а я не мог себе представить: вот здесь, где все мы можем стоять,—и *он* стоял!

Было так. Папа считался лучшим в Туле детским врачом. Из Ясной Поляны приехал Лев Толстой просить папу приехать к больному ребенку. Папа ответил, что у него много больных в городе, и что за город он не ездит. Толстой настаивал, папа решительно отказывался. Толстой рассердился, сказал, что папа, как врач, обязан поехать. Папа ответил, что по закону врачи, живущие в городе, за город не обязаны ездить. Расстались они враждебно.

Эх, если бы мне... С каким бы я восторгом поехал!

4-го января был танцовальный вечер у нас. Так уже повелось, что на Святках наш день был 4-е января,—день моего рождения. Не потому, чтоб меня как-нибудь выделяли из братьев и сестер,

а просто,—только мое рождение приходилось на праздники. Но все-таки я являлся как бы некоторым центром праздника, меня поздравляли, за ужином пили наливку за мое здоровье, после ужина товарищи иногда даже качали меня.

Уж за несколько дней началась подготовка к вечеру. Мы все чистили миндаль для оршада, в зале и гостиной полотеры натирали воском наши крашеные (не паркетные) полы. Мама приезжала из города с пакетами фруктов и сластей. У всех много было дел и забот.

У меня, кроме всех этих общих забот, была еще одна, своя. Я сидел у себя за столом над маленькой тетрадочкой в синей обертке, думал, покусывал карандаш, смотрел на ледяные пальмы оконных стекол и медленно писал. Записывал темы для разговоров с дамами во время кадрили.

О ЧЕМ И С КЕМ:

С Любой. 1. Спросить, как-будто не знаешь, с нею ли в одном классе учится Надя Соколова, и рассказать, что она училась у нас в детском саду.

2. Спросить, какие у них задают темы для русских сочинений. Высказать мысль, как глупо задавать сочинения на пословицы. Подробно доказать.

С Катей. 1. Спросить, почему она больше не надевает золотую рыбку, сказать, что очень к ней идет.

2. Спросить, почему их отца зовут Адам. Русские так не называют, а у поляков был Адам Мицкевич. Не поляк ли? Тогда, значит, у них совсем, как у нас: отец поляк, мать русская.

3. Придумать еще что-нибудь.

С Наташей. Уверять, что очень обижен за рябчика. Веснушки.

С Зиной Белобородовой. Как мы катались на ледяных горах.

И так дальше.

Этот вечер в моей памяти полон Наташею, и еще—жестокою обидою, которую мне нанес папа,



Наташа из трех сестер была младшая, она была на пять лет моложе меня. Широкое лицо, и на нем—большие, лучащиеся глаза, детски-ясные и чистые; в них, когда она не смеялась, мне чувствовалась беспомощная печаль и детский страх перед жизнью. Но смеялась она часто, — хохотала, как серебряный колокольчик, и тогда весь воздух вокруг нее смеялся. Темные брови и светлая, как лен, густая коса. У всех Козеровских были великолепные волосы и чудесный цвет лица.

Помню Наташу в тот вечер,—в белом коротком платье с широкою голубою лентою на бедрах, быстро семенящие по полу детски-стройные ножки в белых туфельках и белых чулках. И когда для вальса или польки она клала руку мне на плечо, ее лицо переставало улыбаться, и огромные глаза становились серьезными и лучистыми, как у мадонны.

Я пригласил ее на кадриль. Сели. Я сказал:

— Наташа! Первого января, на вечере у вас, вы меня жестоко обидели.

Наташа смущенно подняла темные брови и растерянно взглянула на меня детскими, ясными своими глазами.

— Чем?

— Вы сказали, что вы терпеть не можете рябчиков.

— Ну, так что ж?—Ее бровь насмешливо дрогнула.—А вы разве рябчик?

Зловеще-трагическим голосом я ответил:

— Да! И вы сами знаете,—это вы намекали на меня.

Наташа засмеялась колокольчиком.

Скрипки и контрабасы в передней заиграли первую фигуру кадрили на мотивы «Прекрасной Елены» (четыре музыканта с красными кончиками носов и щетинистыми щеками). Дирижер закричал:

— Commencez!

Мы поднялись и двинулись навстречу нашим визави. Когда кончили первую фигуру и опять сели, и танцовать ее стали поперечные пары, Наташа спросила:

— Какой же вы рябчик? Рябчик—птица.

— Пожалуйста, не отвиливайте! Я сразу понял, что вы говорите в переносном смысле, про меня!

Наташа смеялась, но все же с недоумевающим ожиданием глядела на меня.

— Ну, хорошо! В переносном смысле. Ну, можно так сказать про рябого человека. А вы вовсе не рябой.

— Как не рябой? Рябой—не рябой, а все лицо у меня в веснушках. Это все равно, что рябой.

— Вовсе совсем другое!

— Нет, нет, не отпирайтесь! Я все знаю!

— La seconde figure! Les dames, commencez!

— Вам, Наташа, начинать...

Сели после второй фигуры.

— И вам, Наташа, не стыдно смеяться над несчастием человека? Неужели вы думаете, мне приятно, что у меня веснушки? Ведь я же не виноват, что они у меня есть...

— Да я же ничего такого не говорила!

Налево от нас, в соседней паре, сидела Наташа Занфтлебен, подруга Наташи Козеровской. Я обратился к ней:

— Наташа, ну, рассудите вы нас. Ответьте по совести: хорошо это, благородно смеяться над уродством человека?..

Очень удачный вышел рябчик. Рябчика этого мне хватило на весь вечер, и на весь вечер он связал меня с Наташею. Я уличал ее, всем жаловался на нее, она оправдывалась, доказывала, что рябой и в веснушках—не все равно, просила нас рассудить. Многие решали в мою пользу, я торжествовал, стыдил Наташу. И весь вечер я не спускал с нее глаз, с ее милого личика с огромными синими глазами. Разговаривал за танцами и с Любою о русских сочинениях, и с Зиной Белобородовой о ледяных горах, а глазами все время следил за Наташею. И когда ловил ее взгляд,—укоризненно качал головою, а она начинала смеяться.

За ужином я сел между Наташей Козеровской и Наташей Занфтлебен, мы втроем все время смеялись и перекорялись. Подали индейку с маринованными сливами и вишнями. Я спросил:

— А индюшку вы любите?

— Ну, теперь, если я что скажу не так, вы станете говорить, что вы индюшка. Люблю, люблю!

— Наташа Занфтлебен, вы слышите? Наташа Козеровская говорит, что я индюшка! И что она меня любит за то, что я индюшка! Когда же вы меня, Наташа, перестанете оскорблять?!

Опять закипели перекоры, смех, оправдания, доказательства.

— Нет, уж извините, это превосходит всякую меру! Это будет известно вашей маме.

Я побежал к Кате, стал за ее стулом.

— Катя, передайте, пожалуйста, Марии Матвеевне, что Наташа вела себя у нас сегодня совершенно непозволительно! Весь вечер смеялась над моими телесными недостатками, а за ужином обругала меня индюшкой!

— Катя, неправда, неправда, он выдумывает!

— Нет, не выдумываю, Наташа Занфтлебен свидетельница!

После ужина начали играть в разные игры. Папа стал играть вместе с нами. Я был в ударе до вдохновения, до восторга. Острил, смеялся. Чувствовал, как я всем нравлюсь, и как мне все барышни нравятся, особенно три Козеровские. Какие милые! Какие милые! И Люба, и Катя, и Наташа.

Стали играть в рекрутский набор. Игра эта вот в чем: дамы остаются в зале, кавалеры уходят. Каждая дама выбирает себе по кавалеру, кавалеры поодиночке входят и стараются угадать, какая дама его выбрала: он к той подходит и кланяется. Если не угадал, дамы выгоняют его рукоплесканиями обратно, если угадал,— он остается в зале, за стулом своей дамы, и зовут следующего кавалера. Потом кавалеры так же выбирают дам.

Дамы остались в зале нас выбирать, а мы ушли вместе с папой в его кабинет. Вошла к нам из залы Люба Козеровская. Немножко стесняясь, она сказала:

— Мы не помним всех кавалеров, позвольте мне вас посмотреть.

Папа скомандовал:

— Господа кавалеры, станьте в шеренгу!

Я шагнул вперед, вытянулся перед Любою во фронт и отрапортовал:

— Честь имею показаться! Вот моя физиогномия!

Папа возмущенно оглядел меня.

— Виця! Что такое? Что за «физиогномия»? Неужели ты находишь это остроумным?

Я смешался и замолчал. Мне показалось,—Люба с сочувствием и ласкою поглядела на меня. Сразу подсеклись и восторг мой, и вдохновение. Перед Любой,—перед Любой так меня срезал папа!..

И на остаток вечера совсем, совсем я завял.

Как-то подозвал меня к себе в гимназии учитель Михаил Александрович Горбатов. В нашем классе он не преподавал и, кажется, был папиным пациентом. Он мне предложил репетировать одного из своих учеников, четвертоклассника Поля, сына генерала. И прибавил:

— Человек богатый, не стесняйтесь. Спросите с него тридцать рублей в месяц.

Тридцать—в месяц!.. У меня до сих пор деньги бывали только подарочные на именины (по рублю — по два), да еще,—что с'экономишь с трех копеек, что нам выдавались каждый день на завтрак. И вдруг—тридцать в месяц! За деньги я уроков никогда еще не давал, боялся,—сумею ли,—но преодолел свою робость и сказал, что согласен. Горбатов написал мне рекомендательное письмо и сказал, чтобы я с ним пошел в генералу сегодня же, в субботу, вечером.

Письмо было незапечатанное. Я пришел домой, рассказал о предложении, прочел письмо:

Ваше Превосходительство,

Александр Петрович!

Податель сего письма, один из превосходнейших учеников седьмого класса, может принять на себя обязанность репетировать вашего сына. Он знает превосходно немецкий язык и теоретически, и практически, и отличается большим терпением и любовью к труду.

О немецком так было сказано, потому что мальчик особенно плох был в немецком. Письмо это всех нас очень смутило. Долго

мы обсуждали, можно ли итти с таким письмом. Папа находил, что совершенно невозможно: фамилия—Поль,—может быть, немцы; заговорят со мной по-немецки, и получится конфуз.

Решили так: сегодня я к генералу не пойду, а завтра, в воскресенье, днем, пойду на дом к Горбатову и все ему об'ясню. Так и сделал. Горбатов рассмеялся, сказал, что рекомендательные письма всегда так пишутся, что генерал—форменный бурбон и немецкого языка не знает. И еще раз посоветовал, чтобы за урок я потребовал тридцать рублей.

Мне очень хотелось получить тридцать рублей. Но было страшно совестно просить такую колоссальную сумму: тридцать в месяц! Уж пятнадцать было бы для меня огромнейшим богатством, двадцать же—лучше нельзя было и желать. А вдруг, правда, даст тридцать! Ведь генерал,—отчего не даст?

Долго я думал и решил,—когда меня генерал спросит об условиях, начну так:

— Михаил Александрович Горбатов советует мне просить с вас тридцать рублей...

И генерал, наверно, не даст мне дальше говорить и скажет:

— Ну, тридцать, так тридцать. Прекрасно!

Пошел. Ввели к генералу в кабинет. Приземистый, с рачьими глазами, с седыми, свисающими по концам усами, в высоких сапогах со шпорами. Прочел письмо Горбатова.

— Угу! Ну, вот и хорошо. Мальчишка мой лодырь, будьте с ним построже... Позвать Александра Александровича!

Вошел юноша на голову выше меня, тонкий и красивый. Отец познакомил нас. Видимо,—это я потом сообразил,—отец ждал, что я поэкзаменую его сына, посмотрю его тетрадки,—он их принес по приказанию отца. Но я не догадался,—только мельком взглянул на тетрадки и сказал: «хорошо!»

Сын ушел, отец наставил на меня рачьи глаза и спросил:

— А какие ваши условия?

— Михаил Александрович Горбатов советует мне просить тридцать рублей...

Генерал резко оборвал меня.

— Мне нет никакого дела до того, что вам советует г. Горбатов. Сколько вы сами хотите?

Я сконфузился и быстро ответил:

— Двадцать рублей.

— Хорошо.—И он встал.

Глупость это была с моей стороны или предательство? Ей-богу, глупость. Мне теперь стыдно и удивительно вспоминать, до чего я тогда бывал глуп. Но не так, должно быть, воспринял мой поступок Горбатов. Повидимому, генерал встретился с ним в клубе и не поблагодарил его за совет, который он мне дал. Вскоре я встретился в гимназии с Горбатовым в коридоре, поклонился ему. Он холодно-негодующими глазами оглядел меня, не ответил на поклон и отвернулся.

У нас были на немецком языке сочинения Теодора Кернера и Шиллера, маленького формата, в тисненых коленкоровых переплетах,—их папа привез из своего путешествия за границу. Я много теперь стал читать их, особенно Кернера, много переводил его на русский язык. Мне близка была та восторженная, робкая юношеская любовь, какая светилась в его стихах.

Этот Кернер был австрийский гусарский офицер. В 1813 году двадцати двух лет, он погиб в войне с Наполеоном, участвуя в партизанском отряде Люцова. Героические призывы к борьбе за свободу родины переплетались в его поэзии с нежною и робкою любовью к возлюбленной. И мне нравилось представлять себя в той героической обстановке, в какой жил и умер Кернер. И я переводил из него:

ПРОЩАНЬЕ С ЖИЗНЬЮ,

когда я, тяжело раненный, лежал в лесу и готовился к смерти.

Ноет рана. Зубы стиснуты от боли.
По сердца замирающему биенью
Я вижу,—смерть близка, и близко искупленье...
О, боже, боже! По твоей да будет воле!
Немало снов вокруг меня мелькало,—
Теперь те сны сменились смертным стоном.

Смелей, смелей! Что здесь в душе сияло,
И в мире том останется со мною.
И что я, как святыню, чтил душою,
За что я бился век, не уставая,
Любовью ль то, свободой называя,—
Как серафим в блестящем одеянье,
Передо мной стоит... Сомкнулись веки,
И медленно теряется сознанье...
Прощай же, жизнь! Прощай, прощай навеки!..

Я лежал навзничь на полу нашей комнаты, раскинув руки, и слабо стонал, и шептал запекшимися губами: «Люба!» И Люба невидимо приходила и клала свою белую руку на мой горячий лоб. Раз неожиданно открылась дверь и вошел Миша. Я вскочил с пола, а он удивленно оглядел меня.

И из всего вообще, что я читал, вырастали душистые цветы, которые я гирляндами вплетал в мою любовь.

Есть в парке распутье, я знаю его!
Верхом ли, в златой колеснице,
Она не минует распутья того,
Моя молодая царица!
На этом распутьи я жизнь просижу,
Ее да ее поджидая.
Проедет: привстану, глаза опущу,
Почтительно шляпу снимая...

Прочел я это в «Русских поэтах» Гербеля. Песнь Риццио из поэмы Нестора Кукольника «Мария Стюарт». Я пел эту песню,— и была моя молодая царица с наружностью Кати, с червонно-золотыми волосами под короной, и я вставал, снимал шляпу с длинным страусовым пером и низко кланялся.

Каждое воскресенье мы обязательно должны были ходить к обедне в гимназическую церковь. Если опаздывали, нас наказывали. После обедни всех собирали в актовый зал и делали перекличку. Длинная-длинная служба, выпивоха-иеромонах с веселыми глазами и фальшиво-благочестивым голосом, белые, пустые

стены гимназической церкви, холодная живопись иконостаса; серые ряды расставленных по росту гимназистов; на возвышении, около свечного ящика, грозный инспектор Гайчман: то крестится, то инквизиторским взглядом прощупывает наши ряды,—благоговейно ли чувствуем себя. Церковный староста, богатый чаеторговец Белобородов, худой, бритый старик в длиннополом сюртуке, извиваясь, ходит перед иконостасом, ставит свечки и крестится. Отблеск скучно-белесого зимнего дня на полу... Тошнит и теперь, как вспомнишь.

Ко всенощной начальство не требовало, чтоб ходить в гимназическую церковь, и субботние вечера были у гимназистов свободные. Но наши родители тщательно следили, чтобы мы ходили ко всенощной в приходскую нашу церковь Петра и Павла, на Георгиевской улице (позже улица называлась Петропавловской). Милая, дорогая сердцу церковь, белая, с большим белым куполом и золотыми крестами на куполе и колокольне. Для меня горем было бы пропустить в ней хоть одну всенощную. Но папа и мама и не подозревали, почему я так аккуратно посещаю ее. В эту же церковь ходили и Козеровские.

Красноватый сумрак под сводами, потрескивание восковых свечей и поблескивание золотых окладов на иконах, запах кадильного дыма. И батюшка Василий Николаевич, старик, еще крестивший маму,—высокий, величественный, с редкими седыми волосами,—провозглашает вдохновенно и торжественно:

Слава тебе, показавшему нам свет!

И в ответ нежно, протяжно звучат под сводами детские голоса, сдержанно гудят басы:

Слава в вышних богу,
И на земли мир,
В человецех благоволение.
Хвалим тя, благословим тя,
Кланяемтися, славословим тя...

Я стою в середине, между двумя центральными упорами сводов, и поглядываю через головы вперед и влево. Служба идет в правом приделе, а перед левым двумя рядами стоят пансионерки Козе-

ровских. Вижу сбоку фигуру Екатерины Матвеевны, и вот—характерная рыжая коса Кати под барашковой шапочкой... Здесь! Сразу все вокруг становится значительным и прекрасным. Я слежу, как она крестится и кланяется, как шепчется с соседкой-подругой. Какая стройная, как выделяется своим изяществом из всех пансионерок!

Все напевы, все слова конца всенощной я помню до сих пор,— они и теперь полны для меня очарованием прелестной девушки-подростка с червонно-золотою косою. И когда я теперь хочу воскресить в памяти то блаженное время, я иду ко всенощной. Каждая песня вызывает свое особое настроение.

Воскресение Христово видевше,
Поклонимся святому господу Иисусу,
Единому безгрешному,
Кресту твоему покланяемся, Христе...

Звуки удовлетворенные, радостные. И они говорят:

— Ты здесь! Ты здесь, милая девушка,—«моя молодая царица»!..

Гаснут восковые свечи перед образами, сильнее пахнет воском, в полумраке красными огоньками мигают лампадки, народ начинает выходить из церкви. На клиросе высокий, седой и кудрявый дьячок, по прозванию Иван Великий, неразборчивым басом бормочет молитвы. Выходит батюшка,—уже не в блестящей ризе, а в темной рясе, только с епитрахилью, становится перед царскими вратами. И бурно-весело, опьяненный радостью, хор гремит:

Взбранной воеводе победительная,
Яко избавльшеся от злых,
Благодарственная восписуем ти раби твои, богородице...
Радуйся, невесто неневестная!..

Душа трепещет и смятенно ликует, и сердце замирает: сейчас, при выходе, мы можем встретиться!

И вот я стою у выхода и озабоченно смотрю назад, навстречу валящей из церкви толпы, как будто поджидаю кого-то из своих. Вот в толпе Козеровские. Выходят. А я... Я из-за ряда нищих, жадно протягивающих руки, вежливо кланяюсь—и продолжаю оза-

боченно вглядываться в выходящие толпы, как будто мне там кто-то ужасно нужен... Прошли. Подавленный, разочарованный, я иду далеко сзади. Певчие ребята у входа дерутся с гимназистами, старушки на прощание низко крестятся на церковь. Иду в черном потоке расходящихся богомольцев. Поворот с Георгиевской на Площадную, где из бакалейной лавки пахнет мятой. Вижу, как в темноте, под слабым светом одинокого керосинового фонаря на углу, вереница пансионерок поворачивает на Площадную,—а я бреду вверх по Ново-Дворянской...

Бывало и так: Козеровские выйдут из церкви раньше меня; я их обгоняю уже на улице,—кланяюсь с тем же деловым, озабоченным видом и спешу вперед, как будто мне кого-то необходимо нагнать, и совсем не до них.

Зато иногда,—ох, редко, редко!—судьба бывала ко мне милостива. Я сталкивался с Козеровскими в гуще выходящего потока, увильнуть никуда нельзя было. Екатерина Матвеевна, смеясь своими черными глазами, заговаривала со мною. Катя, краснея, протягивала руку. И я шел с ними уж до самого их дома, и они приглашали зайти; я отнекивался, но в конце-концов заходил. И уходил поздно вечером, пьяный от счастья, с запасом радости и мечтаний на многие недели.

Когда я входил в переднюю дома Козеровских, меня встречал какой-то особенный, милый запах. У каждого дома есть свой запах.

Запах передней крепко остался у меня в памяти,—с нею связаны особенно-радостные воспоминания. Когда я уходил, мы всегда долго стояли в передней,—в ней так хорошо говорилось перед уходом, так интимно и свободно; и так лукаво глядели милые, смеющиеся глаза Кати! И так приветно сверкали влюбленные девичьи улыбки! Милая передняя,—просторная, с деревянными вешалками и с этим удивительно приятным, характерным запахом.

Когда я был уже студентом, Козеровские купили для своей школы новый большой дом на Калужской улице. В старом их доме



открыла школу для начинающих моя тетя, тетя-Анна. Как-то был я у нее. Прощаюсь в передней и говорю:

— Удивительно-приятный запах в передней тут.

Тетя изумленно вытаращила на меня глаза.

— Приятный?! Просто измучились, не знаем, что делать: тянет в переднюю из отхожего места. И Козеровские сколько с этим бились, ничего не могли поделать.

Я внюхался—и, к изумлению своему, должен был согласиться. Да! Вполне несомненно! Пахнет... отхожим местом!

Когда я перешел в седьмой класс, старший брат Миша кончил реальное училище, выдержал конкурсный экзамен в Горный Институт и уехал в Петербург. До этого мы с Мишей жили в одной комнате. Теперь,—я мечтал,—я буду жить в комнате один. Была она небольшая, с одним окном, выходившим в сад. Но после от'езда Миши папа перешел спать ко мне. До этого он спал в большом своем кабинете,—с тремя окнами на улицу и стеклянною дверью на балкон.

Папа, повидимому, для того ко мне переселился, чтобы больше сблизиться со мною. Ему как будто хотелось, чтобы между нами установились близко-дружеские, товарищеские отношения.

Детьми мы все очень стеснялись его, чувствовали себя при папе связанно и неловко. Слишком он был ригористичен, слишком не понимал и не переваривал ребяческих шалостей и глупостей, слишком не чувствовал детской души. Когда он входил в комнату, сестренки, игравшие в куклы или в школу, смущенно замолкали. Папа страдал от этого, удивлялся, почему они бросили играть, просил продолжать, замороженные девочки пробовали продолжать, но ничего не выходило.

В старших классах гимназии у меня с папой стали завязываться более близкие отношения, мы много и горячо спорили по самым разнообразным вопросам. Но, конечно, настоящих, товарищеских, дружеских отношений не было и не могло быть. А папе

хотелось этого, и он поселился со мною в одной комнате, чтобы общение наше было частое, ежеминутное. Но должен сознаться,— кроме большого для меня стеснения, ничего из этого совместного житья не получилось. И я иногда думал с озлоблением: зачем папа спит в моей маленькой комнатке, когда у него есть просторный кабинет? Впрочем, папа и сам, повидимому, скоро увидел бесплодность своей попытки, и последний год гимназической жизни я уже жил в своей комнате один.

А в то время, когда мы жили с папой вместе, случилось однажды вот что. Было Вербное воскресение. С завтрашнего дня начиналось говение, нужно было утром встать к заутрени в пять часов. Но пусть рассказывает мой тогдашний дневник.

11 апреля 1883 г.

Понедельник Страстной недели.

Половина 10-го утра.

Я нахожусь теперь в самом скверном расположении духа, несмотря на то, что говею. Расскажу то, что случилось вчера вечером. Я лег спать в половину одиннадцатого, потому что на другой день надо было встать в 5 часов для того, чтобы итти к заутрени. Но до половины двенадцатого я не мог заснуть оттого, что клопы страшно надоели. Посыпав постель персидской ромашкой, я улегся и начал уже засыпать. Но в комнату вошла мама со свечкой, поставила ее рядом с лампой (горящей) и начала разговаривать с папой. Двойной свет падал мне прямо в лицо. Папа с мамой разговаривали, конечно, громко, так что я окончательно потерял возможность заснуть. Уж я ворочался, ворочался! Да скоро ли она уйдет? Уж половина первого,—а мне завтра вставать в 5 часов. Я даже несколько раз проворчал это под-нос. Папа и мама несколько раз спрашивали меня, клопы меня кусают, что ли? Я молчал. Уж я отворачивался, кутался в

одеяло,—жара страшная, весь вспотел, а свет так и режет глаза. Отворотишься к стене,—свет отражается от нее и все-таки бьет в глаза. Я, наконец, не вытерпел. Я довольно громко «хныкнул».—«Чего он там?» спросила мама, «клопы его, что ли, кусают?» «Никакие клопы меня не кусают», отвечал я. «Так чего ж ты хнычешь?» «Оттого», сказал я, «что мне завтра в пять часов вставать». «А, брат, так в таком случае это с твоей стороны свинство», протянула мама: «мне самой завтра в пять часов вставать».—«Вот дал бы я тебе в *пять часов вставать*!» закричал на меня папа. Мама встала и ушла из комнаты. Папа потушил лампу и лег спать, еще раз повторив: «задал бы я тебе—*в пять часов вставать*!»... Сегодня папа со мной разговаривать не хочет и не смотрит на меня. Мама уехала во Владычню... Но я не виноват! Я сначала молчал; когда они меня спрашивали, что со мной, я не отвечал. А когда, наконец, добились ответа, то говорят, что это свинство! В чем же свинство? Я не понимаю. Если я теперь и попрошу у папы прощения, то это все равно будет только лицемерие, потому что просят прощение тогда, когда сознают себя виноватым, а я себя не признаю виноватым... А интересно мне вот что: считают ли они себя хоть на капельку виноватыми? Наверно нет. Два часа без стеснения сидеть в комнате, когда стоило сделать несколько шагов, чтобы быть в маминой комнате, в которой бы они никому не мешали бы, поставить двойной свет перед глазами, говорить ничуть не тише обыкновенного, зная, что мне завтра вставать в пять часов,—это, конечно, ничего. А дать это с моей стороны заметить,—о, это другое дело! Это громадный проступок! Прошли те времена, когда по Домостроевским идеалам обращались родители с детьми, как с вещами; я имею право требовать, чтобы со мною обращались, как с *человеком*, а не как с скотиною.

Поэтому, повторяю, если я буду просить прощения, что придется скоро сделать, потому что послезавтра я буду исповедываться,—то, прося прощения, я не буду раскаиваться в своем поступке, потому что я не виноват.

3 часа дня.

«Ей, Господи, царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!»

Что я такое написал? а еще говею?! Я спрашивал себя, в чем состоит мой проступок? А вот в чем: я *нарушил пятую заповедь*: «чти отца твоего и матерь твою!» Значит я виноват и должен просить прощения!

4 часа дня.

Я сейчас попросил у папы прощения. Я—подлец! Я осмеливался писать там: «без стеснения говорить», «двойной свет» и т. д. Бедный папа бьется из всех сил, чтобы сколотить хоть немного денег Мише и мне в университет, здесь горе за горем следует,—Миша в горном институте провалился по химии, денег нет, практика становится все меньше, Владычня берет деньги только в себя и ничего не возвращает,—а я здесь со своими Домостроевскими началами! Бедный папа себе во всем отказывает,—ходит в старых панталонах, в изодранной шубе,—все для нас. И вот в это время, когда он, и забыв, я думаю, обо мне, разговаривал с мамою об этих затруднительных обстоятельствах, вдруг я со своими протестами!.. О, я негодяй, негодяй! И еще я себя воображал какою-то угнетенною невинностью!

Многие церковные песни, и не из одной только всенощной, остались в моей памяти, как своеобразные любовные гимны, прочно



связанные с определенными переживаниями в моей любви к Козеровским.

На заутрени под Светлое Воскресение я прозевал Козеровских. То-есть, если по-настоящему сказать, по чистой совести,— просто, по окончании службы не посмел к ним подойти. А в этом было все. Они бы пригласили меня прийти,—и опять день за днем я стал бы бывать у них всю Святую.

Спросят: раз Козеровские так ко мне относились, то что же мешало мне прийти к ним на праздники и без приглашения? Ясно, что и в этом случае они встретили бы меня очень радушно.

Без приглашения?! Без приглашения, так, просто, пойти... к Козеровским?! Да от страха и волнения я бы умер у их крыльца, раньше, чем прикоснулся бы к ручке звонка. Да нет,—и не то даже, что умер бы. А просто и представить себе не могу. Как бы это? Так,—пришел, позвонил и—«здравствуйте»? Чудаки какие! Даже когда я знал, что меня ждут, сердце у меня ходило в груди, как поршень в паровике, я несколько раз сворачивал со Старо-Дворянской на Площадную не влево, к их дому, а вправо, к банку, несколько раз подходил к крыльцу,—и проходил мимо. А когда, наконец, дрожащею рукою дергал звонок, то говорил себе с ужасом:

— Теперь конец! Назад уж нельзя!

Так вот, значит,—у заутрени прозевал я Козеровских. Пришел домой в отчаянии. Были розговены,—вкусная ветчина, кулич, шоколадная пасха. У всех светлые, праздничные лица. Я тоже смеялся, болтал, а в душе тоскливо звучало:

— Теперь не увижу их до будущего Рождества... Дурак, дурак!

И решил: пойду завтра утром к обедне к Петру и Павлу. Вдруг будут и Козеровские! Мало было надежды,—но вдруг! Тогда уж, чего бы это мне ни стоило, возьму себя за шиворот, прямо после службы подойду к ним и поздороваюсь.

И целых три дня подряд,—воскресенье, понедельник и вторник,—я ходил к обедне,—почти уже с таким чувством, как если бы бродил по улицам в надежде: вдруг нечаянно найду оброненный кем-нибудь кошелек!

Свет и простор главной, летней церкви под высоким куполом (летняя церковь открывалась к заутрени под Светлое Воскресение и снова закрывалась осенью под Покров). Широкий и высокий иконостас, веселые лучи солнца сквозь синий кадильный дым. Полный, праздничный хор, звуки молитв, гулко повторяющиеся под куполом:

Пасха непорочная,
Пасха великая, пасха верных,
Пасха, двери райские нам отверзающая...

И теперь еще, когда звучит в памяти эта песня, я так живо переживаю тогдашнее настроение: ощущение праздничной сытости и свободы, лучи весеннего солнца в синем дыме, чудесные дисканта, как будто звучащие с купола, холодная, издевательская насмешка судьбы, упреки себе и тоска любви такая безнадежная! Особенно все это во фразе: «Пасха, двери райские нам отверзающая». Мне и сейчас при этой молитве кажется: слезы отчаяния подступают к горлу, и я твержу себе:

— Дурак! Дурак!..

КАК Я В ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛ ПЬЯН. Именьице наше было в двух участках: пахотная земля с усадьбою лежала совсем около железнодорожного пути, а по ту сторону пути, за деревнею Барсуками, среди других лесов было и нашего леса около восьмидесяти десятин. В глубине большой луговины, у опушки, стоял наш хутор,—изба лесника и скотный двор. Скот пасся здесь, и каждый день утром и вечером мы ездили сюда за молоком.

Луговину уже скосили и убрали. Покос шел в лесу. Погода была чудесная, нужно было спешить. Мама взяла человек восемь поденных косцов; косили и мы с Герасимом, Петром и лесником Денисом. К полднику (часов в пять вечера) приехала на шарабане мама, осмотрела работы и уехала. Мне сказала, чтобы я вечером, когда кончатся работы, привез удой.

Только что она уехала, меня обступили косцы, и Василий Панов из Хвошни, переминаясь, сказал:



— Дозволь, барин, малому отлучиться в Хмелевую,—винца нам купить к ужину.

— Что ты, Василий, говоришь! Не могу. Вместо того, чтобы косить, он за водкою будет бегать. Пошабашим,—тогда пускай идет.

— Ходить-то далеко, час целый ждать придется. Ты не сумлевайся: мы как наляжем на косы,—впятеро против него скосим.

— Ну, если так, то хорошо. Только уж, ребята, по совести,—чтоб потом не пришлось раскаиваться.

— Вот спасибо! Уж будьте покойны, не обидим вас... Доставай, ребята, кошели, вытряхай пятаки!

Приятно было в работе чувствовать себя с ними товарищем,—не хотелось и здесь оставаться в стороне. Я сказал:

— А с меня-то что же? Я тоже в доле.

— О-о-о?! Вот так барин! Ну, ну,—давай и ты!

Малый побежал в Хмелевую. Василий Панов тряхнул волосами и взялся за косу.

— Ну, братцы, не подгадим земли русской! Налегай!

Дружно ударили в косы. Уж и правда,—налегли! Лесная трава—мягкая и жирная, косить ее—одна забава. Повсюду вокруг, меж кустов и на полянках, в бешеном темпе мелькали и шипели косы.

— Ну, братцы! Ну! Веселей! О!.. О!.. Сама пошла! О!..

Не отдыхая, не куря, нодгоняя друг друга, мы косили так до самого ужина. Закинув косы на плечи, потянулись к сторожке,—потные, усталые и веселые.

— Ну, что, барин, правильно работали?

— Правильно!

— Вот то-то же! Теперь и выпить можно.

Расселись на лугу, недалеко от сторожки, выложили свежих огурцов, хлеба, соли. Стояло два глиняных кувшина с водкой, заткнутые комками свежей травы. Василий Панов взял чайную чашку с отбитою ручкою, налил ее доверху водкой и поднес мне.

— Что ты, что ты! Мне это много!

— Ну, ну, нешто можно отказываться? Пей без разговоров!

— Да я столько не могу.

— Обидишь нас! Как так не могу? Работать с нами мог, а выпить не хочешь?

С трудом и великим отвращением проглотил я чашку водки. Я давно уже, с тех пор, как стал работать деревенскую работу, с удовольствием выпивал перед едою рюмку-другую водки. Но чашку!.. Все, один за другим, выпивали эту же чашку, аккуратно наполненную до самых краев. Пили без шапок, благоговейно крестились перед выпивкой, потом макали огурцы в соль и с хрустом жевали. Голова у меня сильно кружилась, в теле было горячо и весело. Из чащи леса несло запахом свеже скошенной травы, было тепло, на юге ровно темнела туча, бесшумно поблескивая.

Скоро выпили оба кувшина, малый опять побежал с пустыми кувшинами в Хмелевую, а мы пошли ужинать в сторожку. В голове шумело, как на мельнице, но я все-таки соображал, что пьянство начинается серьезное.

— Слушайте, ребята, ведь вы меня подведете! Перепьетесь и завтра проспите, не выйдете на работу. Мне за вас придется отвечать.

— Барин, да неужто ж мы... Г-господи! Ты нас уважил, а мы тебя будем подводить? Чтоб мы перед тобой оказались подлецами? Мы на это несогласны! Только завтра солнышко на небо,—и мы с косами в лес!

— Ну, смотрите же, я вам верю. Стыдно вам будет... И вы тоже,— Петр, Герасим. Вы-то уж совсем меня подведете, если завтра вас не добужусь.

Умиленный Петр лез ко мне целоваться.

— Чтоб мы... Викентий Викентьевич, чтоб мы... Ежели вы оказываетесь такой хороший человек... Чтоб мы... Только светать станет, всех сами побудим. Будьте покойны!

Когда ужинали в избе лесника, потемнело за окнами, чугунными шарами покатился по небу гром, заблистали молнии, и хлынул проливной дождь. Ехать домой нельзя было. Да я, впрочем, и раньше уж решил остаться тут ночевать.

Помню: сидим мы все в тесной избе; папиросы мои давно вышли, курим мы махорку из трубок, волнами ходит синий, едкий

дым, керосинка на столе коптит и чадит. Мы еще и еще выпиваем, и поем песни. По соломенной крыше шуршит дождь, за лесом вспыхивают синие молнии, в оконце тянет влажностью. На печи сидит лесникова старуха и усталыми глазами смотрит мимо нас.

Мне кажется, что пение у нас выходит очень хорошо. Да и всем певцам, видно, это кажется. Мы поем про Лизу, как она пошла гулять в лес, как нашла черного жука, и что из этого вышло. Песня—чистейшая похабщина. Но так звонки слова, так лиха и выразительна мелодия, так подхватчив припев,—что мне совсем не стыдно участвовать в этом хоре. Запевает Герасим. Я сижу, обнявшись с ним. Он быстрым, рубящим говорком:

Вот вам, девушки, наука,—
Не ходите в лес гулять!

И мы все дружно орем:

Лё-ели, лёли, лёли!—
Не ходите в лес гулять!

И опять Герасим:

Ах, не ходите в лес гулять,
Д'не кладите жука спать,—
Лёли! Лёли, лёли,—
Не кладите жука спать!

И кулаками об стол для аккомпанемента.

Он залезет под капот
И наделает хлопот!...

Шум, хохот, пьяный говор, об'ятия, дым махорочный столбом. Я пошел дохнуть чистым воздухом. Встал. Чувствую,— качает меня во все стороны. Придерживаясь за стенку, вышел через сенцы наружу. Небо черное, гроза отгремела, сеет окладной дождь. Прислонился к наружной стене, под выступом крыши. С ее соломы капает передо мною вода, склизкая грязь под ногами. Смотрю: рядом, устало и молча, стоит Таня, старшая дочь лесника. Я соображаю шумящею головою, что ведь Доня, наша горничная,—ее сестра, значит, дома станет известно, как я тут пьянствую с му-

жиками. Придерживаясь сзади руками за стенку, я говорю трезвым, озабоченным голосом, стараясь выговаривать отчетливо:

— Беда мне с мужиками! Перепились,—как их завтра на работу разбудишь!

Таня молча и иронически смотрит на меня.

Скоро стало мне очень плохо. Меня уложили в клети, на досчатом помосте, покрытом войлоком. Как только я опускал голову на свое ложе, оно вдруг словно принималось качаться подо мною, вроде, как лодка на сильной волне, и начинало тошнить. Тяжко рвало. Тогда приходил из избы Петр, по-товарищески хорошо ухаживал за мною, давал пить холодную воду, мочил ею голову. Слышал я, как в избе мужики пьяными голосами говорили обо мне, восхваляли,—что вот это барин, не задирает перед мужиками носа, не гордый.

В тяжкой, мучительной полудремоте прошла ночь. Жестоко кусали блохи, повыбравшиеся из войлока.

Как только белесый свет полез в щели клети, я встал и, шатаясь, пошел будить косцов. Серое небо, мокрая трава, грязь и лужи на рассклизшей дороге, туман меж кустов. Должно быть, солнце уж встало. Тошнит на душе. Скверно. Растолкал Петра и Герасима,—они спали в стогу. Долго мычали, сопели, отругивались, я им напоминал их вчерашние клятвы. Наконец, Петр пришел в себя, побрел к колодцу, вылил себе на голову три ведра холодной воды, разбудил мужиков. Потом лукаво улыбнулся и таинственно поманил меня к себе. Достал из сена кувшин и чашку. На дне кувшина плескалась водка. Налил полчашки и поднес мне. Я с отвращением отказался.

— Пейте, Викентий Викентьевич, опохмелитесь! Сразу полегчает, вот увидите.

Но меня тошнило при одной мысли опять пить эту гадость.

Долго мужики собирались, зевали и почесывались. Наконец, с помятыми, сонными лицами, клюя на-ходу носами, побрели с косами в мокрый лес. Подоили коров. Я запрег свою телегу и с бидонами вечернего и утреннего удоя поехал домой.

Сидел понурившись, свесив ноги через грядку телеги, тупо глядя на грязные, намокшие свои сапоги... Позор! Гадость! Скверно было на душе. Туловище как будто налито было по самое горло какою-то омерзительною жидкостью, казалось,—качнешься, и вот-вот она хлынет через рот наружу. И дома всё узнают через Таню и Доню. И эта гадостная песня... Ах, как скверно и как неинтересно жить на свете!

Проехал лес, поля. Передо мною—брод через речку Вашану. За ним будет под'ем, железнодорожный переезд—и дома. Река вздулась от дождя, мутно-желтая вода бежала быстро и доходила до ступиц телеги. Вдруг на том берегу, наверху, у заворота дороги, я увидел—маму. Что такое? Как она тут? Да, она, ее старый, отрепанный серый ватерпруф... У меня ёкнуло сердце. Мама бежала по грязной дороге вниз, мне навстречу, и радостными, сияющими глазами смотрела на меня. Я вз'ехал на берег, соскочил с телеги. Мама обнимала меня, восторженно твердила, поднимая глаза к небу:

— Ну, слава, слава богу!

И крестила меня и целовала.

Вот что было. Вечером ударила гроза. Мама беспокоилась,— ну, как я не догадаюсь остаться ночевать на хуторе и все-таки поеду. Двенадцатый час, дождь льет, меня нет. Река, наверно, от дождя вздулась,—поеду я через нее в темноте в брод, вода меня снесет, и я утону. Под ветром и проливным дождем мама, в сопровождении дворника Фетиса, пошла с фонарем к реке. Долго там стояла и смотрела на вздувшийся, шипящий во мраке поток. Фетис доказывал, что я, конечно же, остался ночевать на хуторе. Маме стало совестно, что она его держит под дождем. Воротились. Но только что забрезжил рассвет, мама опять пошла к броду поджидать меня.

Ох, как мне хотелось, чтоб меня кто-нибудь трепал за волосья, бил по щекам, бил бы кулаком по шее и злорадно приговаривал соответственные поучения!.. Но ни одного попрека, ни одного раздраженного слова! Мама заботливо расспрашивала, почему я так долго не собрался выехать вчера,—ведь гроза разразилась, когда уже совсем было темно. Я, не глядя ей в глаза, об'яснял:

— Видел, туча идет, боялся, застанет в дороге.

— А хорошо тебе было спать? Где ты там спал?

— Ничего спал. В клети.

— Не промок дорогой?

— Нет.

А у самой пальто насквозь все мокрое.

С отвращением выпил стакан чаю, залег к себе на постель... Мы там в избе пьянствовали, обнимались, пели эту гнусную песню.

День проходит, ночь проходит,
Жук спокою не дает!

А мама в это время, под хлещущим дождем, стояла в темных полях над рекою и поджидала милого своего сынка. Мама думалась, и девушки-сестры, и Катя Козеровская. Как я теперь увижу ее, как буду смотреть в ее милые, чистые глаза? И быстрый говорок погано отстукивал в голове, мутившейся от похмелья:

Жучок ползает по мне,
Ищшет...

Я вцепился зубами в подушку, и мычал, и корчился от душевной боли... О, господи! Одно остается—умереть! Этой всей гадости никогда ничем не смоешь с души. Н-и-к-о-г-д-а!

Папа летом продолжал заниматься врачебной практикой в Туле и только по воскресеньям приезжал в деревню. Иногда мама посылала меня по разным делам на день, на два в Тулу. У вокзала ждал меня Тарасыч с пролеткой. Если были деньги, я заходил в буфет; яркий свет ламп, пальмы на столах, пассажиры торопливо едят что-то вкусное. Я выпивал у стойки рюмку водки, заедал круглым, сочным пирожком с мясом,—замечательно были вкусные пирожки! И потом ехал в нашей покойной пролетке по тихим, белым тульским улицам и думал: неужели будет время, когда я смогу, не заглядывая в кошелек, сесть за эти пальмы и заказывать все, что захочется?

Дóма в Туле: после грязи, тесноты, некрашеных полов и невкусной еды,—простор, чистота, вкусная еда. Помню, раз, после обеда: были ленивые щи со сметаной и ватрушками, жареные цыплята с молодым картофелем и малосольными огурцами. Сел после обеда в кресло с газетой, закурил,—и всего охватило блаженство: как хорошо жить на свете! Особенно,—когда жареные цыплята и малосольные огурцы!

Я до сих пор помню это глубоко шедшее из тела наслаждение от вкусной еды, и вспоминаю это вот почему. Папа был очень умерен в еде. На именинах у бабушки и вообще в торжественные дни, когда были на столе такие румяные пироги, сыр, колбасы, сардинки, наливки,—папа никогда ничего этого не ел. Заедет на четверть часа, выпьет стакан кофе, пошутит, посмеется и уедет. Он с каждым годом все строже был к себе в еде: католик,—постился с нами по-православному, без молока и яиц. И говорил о великом религиозно-воспитательном значении поста, о том, как поднимающе он действует на душу.

Под старость у меня у самого постепенно появилась нелюбовь к мясу и даже больше: вообще неохота к вкусной, разнообразной пище и особенное отвращение к тяжелой праздничной сытости. Если бы я был верующим человеком, я был бы убежден, что это я начинаю думать о душе, о боге, об отходе от мира. Но теперь скажу: ничего такого нет. Просто, потребность в какой-то телесной гармоничности.

ТИГРА. В наших краях неожиданно появилась тигра. Рассказывали: настоящий бенгальский тигр; будто бы проезжал в Москву зверинец, и на нашей станции Лаптево тигра упустили из клетки.

Никто эту тигру не видал, но зато очень многие видали тех, кто слышал о ней от людей, ее видевших, или даже от нее пострадавших. И пострадавшие были всё из самых ближних деревень. Десятского из села Хотуши она заела на-смерть, прыгнув на него из-за крестцов аржаной копны; одной кургузовской девке выела

щеку, когда она собирала в лесу грибы. Скотины же задрала—нет числа, особенно в лесах.

Была паника. Пастухи отказывались гонять скотину в лес. В дальние поля никто не ходил на работу в одиночку.

Раз вечером у нас выдалось много работы, и Фетису пришлось ехать на хутор за молоком, когда солнце уже село. Он пришел к маме и взволнованно заявил:

— Нет, барыня, не поеду,—хоть сейчас давайте расчет! У меня дома жена, дети... И не желаю от тигры помирать!

Мама рассердилась. Что за трусость! А еще мужчина! Ну, оставайся, я сама отправлюсь. Витя, едем с тобою!

Мы поехали. Я взял с собою двустволку, зарядил ее картечью. Были мягкие, мирные сумерки, озаренные нежно-золотым отблеском зари на облаках заката; сумерки совсем незаметно переходили в темноту. Приехали. Лесник Денис подивился нашей храбрости. Сначала отказался итти с нами на скотный, но успокоился, когда увидел мою двустволку. Уставили в телегу бидоны с молоком, обложили их свеже-накошенною травою. Денис и скотница поспешно ушли. И вдруг мы увидели, что кругом темно и жутко. Поехали.

В разрывы черных облаков тускло мигали редкие звезды. На земле было очень тихо. Из густого мрака выплывали черные силуэты кустов и деревьев, дорога чуть серела впереди, но привычною лошадью не нужно было править.

Мама держала вожжи, я сидел на коленях среди телеги в холодной траве, держал палец на курке двустволки, вглядывался в темноту и спрашивал себя: как это мог бы тигр ухитриться прыгнуть на нас так, чтоб я успел в него выстрелить? И казалось: подозрительно колеблются верхушки кустов тальника около белого камня на меже.

Мама заговорила:

— Удивительно есть прекрасный один псалом. Хвалебная песнь Давида. «Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится, говорит господу: прибежище мое и защита моя, бог мой, на кого я уповаю! Не убоишься ужасов в ночи, язвы,

ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень»... Витя! Ты не заметил,— как будто в тех кустах мелькнули зеленые огоньки?

— Где?

— Вон в орешнике, около лощины.

— Да, да...

С бьющимся сердцем я взвел курок.

— Всё на одном месте огонек... Эх, да это светляк!

Поехали дальше.

— И еще в этом псалме: «падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона»... И ведь, правда, если вдумаешься: без воли господней ни один волос не спадет с головы человека! Вот мы едем, боимся, вглядываемся в темноту, а господь уж заранее определил: если суждено им, чтоб нас растерзал тигр, не помогут никакие ружья; а не суждено,—пусть тигр расхаживает кругом,— мы проедем мимо него, и он нас не тронет.

Я с интересом спросил:

— Как это в псалме насчет аспида?

— «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

— «Попирать будешь льва»... Хорошо!

— Как, подумаешь, жалки неверующие!.. На что они могут опереться в таких, например, случаях, как сейчас?

А оба все-таки пристально вглядывались в темноту и думали: впереди еще две поляны, между ними густой осинник и орешник, а при выезде из леса, на опушке,—большие дубовые кусты, из них тигру очень удобно прыгать на проезжающих...

Потом, вспоминая этот вечер, мы часто смеялись над внезапным приливом нашей религиозности, и я маму обвинял в жестоком грехе,—что, когда пришлось плохо, она впала в самый настоящий мусульманский фатализм, совершенно не подобающий христианке.

Софья Апполоновна Сытина прислала мне через папу «Buch der Lieder» Гейне на немецком языке. Софья Апполоновна была начальница женского епархиального училища, очень умная и образованная женщина. Папа был с нею в дружеских отношениях, часто у нее бывал. Он читал ей мои переводы из Кернера и Шиллера, она их очень одобряла. Теперь она мне прислала «Книгу песен» Гейне и просила перевести в ней «Горную идиллию». Гейне привел меня в восторг. Такими после него пресными показались Кернер и Шиллер! «Горную идиллию» я не смог перевести целиком, но много перевел мелких стихотворений,—а переводя, хорошо изучил книгу.

Вообще, я теперь все больше писал стихов. И переводил, и оригинальные писал,—о любви моей к Козеровским; но посылать в журналы не осмеливался.

В августе 1883 г. умер Тургенев. Я вдохновился и написал стихи на его смерть. В таком роде:

Любовью горячею к братьям
    И словом правдивым могуч,
Явился он к нам... и рассеял
    Всю тьму показавшийся луч.
И светом его озаренные,
    Узрели мы язвы свои,
Увидели ложь вознесенную,
    Увидели царствие тьмы.
Воздвигнутый силою чудною,
    Восстал он за братьев меньших,
Восстал за их жизнь многотрудную,
    Безропотность тихую их...

Благодаря Тургеневу, у всех «спала с лица повязка»,—и крепостное право пало. Кончалось так:

Покойся же мирно во гробе,
    Великий поэт-гражданин,
Оплаканный родиной всею,
    Достойнейший родины сын!

В достоинстве прежних моих стихотворений я не совсем был уверен. Но здесь никаких колебаний уж не могло быть: стихи,

без всякого сомнения, были очень сильны, проникнуты пламенным гражданским чувством и вообще — безупречны. Хотя бы рифмы, например: «луч», — к нему рифма не «из туч», а — «могуч».

Прочел стихи товарищу своему Башкирову. Он сказал:

— Очень хорошо! Пошли в журнал, обязательно напечатают.

Я решился. Только вот в какой журнал? Незадолго перед тем я прочел в газетах весьма презрительный отзыв о журнале «Дело», — что там печатают плохие стихи. Решил послать в «Дело».

Соображения мои были такие: теперь им совестно, что у них такие плохие стихи, они внимательно будут читать присылаемые стихи, чтоб найти хорошие,—значит, и мои стихи прочтут и, конечно, напечатают. Помню, я испытывал даже чувство некоторого снисхождения к «Делу» и сознание, что оказываю им одолжение.

Подписался под стихотворением «В. Вицентович», послал заказным письмом.

С нетерпением ждал выхода октябрьской книжки. Наконец узнал, что она вышла, но достать ее нигде не мог.

Отец Башкирова был членом клуба, там получалось «Дело». Но первые две недели журнал лежит в читальне, а туда доступ гимназистам не разрешается. Башкиров попросил библиотекаря сходить в читальню и посмотреть, не напечатаны ли в «Деле» стихи В. Вицентовича на смерть Тургенева.

Библиотекарь посмотрел,—нет, стихов В. Вицентовича нету, есть только стихи Д. Михаловского. Башкиров пришел ко мне и сообщил это.

Странно! Очень было странно!.. Я изумленно пожимал плечами и молчал. Может быть, библиотекарь не заметил в книжке моего стихотворения? Может быть, шутки ради, не сказал Башкирову, что оно напечатано? Башкиров завтра придет в библиотеку, а библиотекарь ему: «И вы поверили? Я же с вами пошутил! Стихи Вицентовича, конечно, напечатаны. Прекрасные стихи!»

Или, может быть, стихи пропали на почте, не дошли до редакции? Башкиров сказал, что ему говорил библиотекарь,—возможно, стихи запоздали и появятся в ноябрьской книжке. Ну, что ж поделаешь! Очевидно, причина в этом. Будем ждать ноябрьской книжки!

Но и в ноябрьской не появилось...

Из дневника:

4 декабря 1883 г.

Воскресенье.

Что за эгоист человек! Когда умирает кто-нибудь из его близких, разве он плачет и жалеет об умершем? Нет, он жалеет только о самом себе. Не утешать нужно плачущих об умершем, а стыдить их в эгоизме. Да что такое смерть, чтоб жалеть об умершем? Редко, редко промелькнет радостное мгновенье, а то—все пустота и пошлость. Бояться смерти?! Господи! Да что бы ни было там за гробом, но хуже этой пустоты—никогда не будет. И еще особенно жалеют обыкновенно о смерти молодых! Радоваться надо за него, а не плакать.

Не рыдай так безумно над ним,—
Хорошо умереть молодым!

Да, хорошо! Так хорошо, что лучше ничего быть не может. Навеки быть освобожденным от жизни, когда «беспощадная пошлость ни тени положить не успела на нем»! Будь я атеистом, не верь я в загробную жизнь,— для чего стал бы я тянуть свою жизнь? Говорят все, что самоубийцы, убивая себя, доказывают этим самым, что у них нет силы воли. Силы воли! Да неужели сила воли нужна к тому, чтобы предпочитать худшее лучшему? Если умереть—только уснуть и знать, что этот сон

Окончит—

все, то, право,—

Такой удел достоин
Желаний жарких!

Будь я эпикурейцем,—а им бы я непременно был, если бы был атеистом,—то я, насладившись всем, чем можно,—

Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу,

без колебаний, в первый же час душевной пустоты, лишил бы себя жизни. У моего товарища Преображенского—чахотка, и он сам знает, что ему недолго прожить. Счастливец! Знать вперед, что скоро будешь избавлен от жизни, не видеть перед собой, без этого, может быть, еще долгой бы жизни... Застрелиться? Признаться, мне эта мысль часто приходит в голову. Никогда она мне не приходила так ясно и настойчиво, как сейчас, тем более, что папин револьвер в двух шагах. Но огорчить всех и, очертя голову, броситься вниз головой в омут—не неизвестности, а заведомо известных вечных мучений—вот что меня удерживает.

По мере того, как я рос и развивался, схватки с папой о боге становились все чаще и горячее. Мы часами спорили с ним. Каждую пядь моего неверия мне приходилось завоевывать тяжелыми боями. Благодарю за это судьбу, благодарю, что в этих тяжелых боях (ох, каких тяжелых!) я принужден был прочно, обоснованно вырабатывать свои взгляды. Один мой товарищ стал атеистом потому, что император Генрих VI был отравлен ядом, поднесенным ему в причастии: как, дескать, мог яд сохранить свою силу, если причастие есть, правда, тело христово? Мне смешно было, что на таком пустяковом основании можно было потерять веру. Такие аргументы могли иметь силу только для человека, который пришел домой, высказал этот аргумент отцу, а тот ему: «Как ты смеешь, дурак, рас-

суждать о подобных вещах! Дай, еще раз услышу,—выдеру тебя, как сидорову козу!»

Папа радовался на меня в спорах, его глаза часто весело загорались при каком-нибудь удачном моем возражении или неожиданно для него обнаруженном мною знании. Однако ему, видимо, все страшнее становилось, что, казалось бы, совершенно им убежденный, я все же не отхожу от темы о боге, все больше вгрызаюсь в нее.

В старших классах гимназии на меня сильное впечатление произвели последние страницы «Истории цивилизации в Англии» Бокля, где он защищает деизм. «Великий строитель вселенной, творец и начертатель всего существующего, уподобляется какому-нибудь жалкому ремесленнику, который так плохо знает свое дело, что постоянно приходится призывать его для того, чтобы он перестраивал собственную свою машину, устранял ее недостатки, пополнял ее недосмотры, направлял ее ход!» На этом я строил свои доказательства бессмысленности всяких молитв. И странно бывало. Я решительно заявлял, что считаю всякие молитвы совершенно ненужными и оскорбительными для бога, и мне удавалось отстоять свою позицию. Я уходил к себе. Была суббота. Я раскрывал «Немецких поэтов» Гербеля или Тургенева. Вдруг дверь отворяется,— папа. И огорченно, с потемневшим лицом, спрашивает:

— А ты не у всенощной?

Я хмурился, мрачно вставал и озлобленно шел в церковь. И даже не утешало, что там могу увидеть Козеровских.

Каждую субботу вечером мы читали проповеди Иннокентия, архиепископа херсонского и таврического. Был такой знаменитый духовный оратор. Помню несчетное количество томов его произведений,—небольшие томики в зеленых переплетах. Суббота. Вернулись от всенощной, вечер свободный, завтра праздник. Играем, бегаем, возимся. Вдруг мама:

— Дети, проповедь читать!

Еще с горящими от беготни глазами, переводя дыхание, входим в просторный папин кабинет. От абажура зеленый сумрак в нем. Рассаживаемся по креслам и диванам. Мама открывает книгу

и крестится, девочки вслед за нею тоже крестятся. Мама начинает:

Одному благочестивому пустыннику надлежало сказать что-либо братии, ожидавшей от него наставления...

Она читает со светящимися изнутри глазами, папа благоговейно и серьезно слушает, облокотившись о ручку кресла и положив на ладонь большой свой лоб.

Проникнутый глубоким чувством бедности человеческой, старец,—Макарий Великий,—вместо всякого наставления, воскликнул: «Братие! Станем плакать!» И все пали на землю и пролили слезы...

И проповедник предлагал своим слушателям пасть на землю и тоже плакать... Но плакать так не хочется! Хочется бегать, кувыркаться, радоваться тому, что завтра праздник... Глаза мамы умиленно светятся, также и у старшей сестры Юли, на лицах младших сестренок растерянное благоговение. А мне стыдно, что у меня в душе решительно никакого благочестия, а только скука непроходимая и желание, чтобы поскорее кончилось. Тошно и теперь становится, как вспомнишь!

В старших классах гимназии после такой проповеди я иногда вдруг начинал возражать на выраженные там мысли, и, вместо благоговейного настроения, получалась совсем для родителей нежелательная атмосфера спора. Раз, например, после одной вдохновенной проповеди, где оратор говорил о великом милосердии бога, пославшего для спасения людей единственного сына, я спросил: «Какой же это всемогущий бог, который не сумел другим путем спасти людей? Почему ему так приятны были мучения даже собственного сына?»

Я начинал в этой области становиться enfant terrible в нашей семье. Папа все настороженнее приглядывался ко мне. И однажды случилось, наконец, вот что. Я тогда был в восьмом классе. Сестренки Маня и Лиза перед рождеством говели. К исповеди нельзя итти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть.

Я сидел у себя в комнате и переводил стихами с немецкого трагедию Кернера «Црини». Входят сестры Маня и Лиза,—трепещущие, кающиеся,—и говорят:

— Витя, прости нас в том, в чем мы тебя обидели!

Мне стало неловко, как всегда в таких случаях, я смущенно ответил:

— Ну, хорошо! Ступайте!

Они поняли так, что я их не хочу простить,—вышли от меня и заплакали. Увидела их мама, узнала, отчего они плачут, пришла ко мне; выяснилось, что тут недоразумение. Мама все-таки попеняла мне, что я так грубо и небрежно обошелся с сестрами.

Вечером, уже после ужина, я сидел у себя в комнате. Вдруг дверь стремительно раскрылась, и вошел папа. Никогда я его таким не видел: он превосходно владел собою и в самом сильном гневе говорил спокойно и сдержанно. Но тут он шатался от бешенства, глаза горели, грудь тяжело дышала.

— Виця! Что же это такое?! До чего ты дошел?!.. Сестры пришли к тебе просить перед исповедью прощения, а ты им: «Убирайтесь от меня!» Маленьких своих сестер ты хочешь развратить, показать им, что для тебя говение и исповедь—ерунда, пустяки!

Я хотел возразить, что все это было вовсе не так, но папа не давал мне ничего сказать.

— Да сам-то ты,—какое ты право имеешь не верить в бога? Я бы еще мог с состраданием и сочувствием смотреть на человека, который путем долгих сомнений и нравственных мук дошел до неверия. Но ты, шестнадцатилетний мальчишка, который и жизни-то еще совершенно не видел, который еще не прочел ни одной серьезной книги,—ты так легко отказываешься от бога! Нет его! Все ерунда!.. Господи, ты мне свидетель! В чем другом, а в этом я не виноват! Я все делал, чтоб из них вышли честные, порядочные люди! В этом я не виноват!

— Да позволь же, папа...

— После того, что ты сегодня сделал, я тебя больше не знаю и не хочу знать! Я тебя своим сыном не признаю. Ты мне больше не сын! Развратитель детей, негодяй! Проклинаю тебя!!

И он быстро ушел. Я сидел ошеломленный и ничего не мог понять.

Через десять минут папа пришел опять, успокоенный и виноватый, и попросил у меня прощения.

— Я не так понял маму. Она подробнее все рассказала мне,— она нисколько не сомневается, что ты веришь в бога, ей только было неприятно, что ты так необдуманно и грубо ответил сестрам, что они могли тебя понять в нежелательном смысле... Еще раз прошу,—прости, брат, меня!

Папа долго сидел у меня, говорил мягко и задушевно.

— Подумай, Виця, как тут нужно быть осторожным, как нужно бережно и благоговейно подходить к вере маленьких твоих сестер и братьев. Вспомни, что сказал Христос: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». А ты так неосторожно начинаешь даже в их присутствии спорить на самые щекотливые религиозные темы.

Рассказав в своем дневнике об этом столкновении, я писал:

> Я особенно был поражен тем: неужели же папа меня настолько не знает, что мог, благодаря этому случаю, убедиться в моем неверии? Папа или боится за меня в будущем,—особенно во время петербургской жизни, или,—что мне кажется,—уверен и теперь в том, что мои нравственные убеждения пошатнулись, а может быть и совсем пали. Я не знаю, что за причины этому. Видно, что папа и сам страшно страдает от этого... Покамест мои убеждения крепки, до тех пор, я чувствую это, я не погибну нравственно, и покамест есть у меня вера во Всемогущего Подкрепителя и Утешителя, до тех пор я буду стоять твердо. А пока я живу, я всегда буду верить в бога; раз я потеряю веру, то жить больше не стану,—не потому, что потерял веру, а потому, что тогда меня ничто не будет удерживать от самоубийства: кроме нравственной обязанности жить—меня ничего не удержит от смерти.

Переглядываю весь свой юношеский дневник,—и везде тот же курьез: нравственные убеждения, это—синоним убеждений религиозных. Вслед за родителями и мне представлялось совершенно бесспорным: кто в бога не верит, у того, конечно, никакой нравственности быть не может, и тогда обязательно человек должен начать развратничать, красть, убивать, делать всякие пакости. И впоследствии, когда я потерял всякую веру, я был очень удивлен: в бога не верю,—а решительно нет никакой охоты убить кого-нибудь или выкинуть пакость.

---

4 января 1884 года я писал в дневнике:

> Вот мне исполнилось уже семнадцать лет. Кажется, как недавно еще был я маленьким карапузиком,—а теперь уж ровесницы мои совсем взрослые девушки, и сам я—уж юноша с пробивающимися усами. О, время, время! Как скоро летишь ты! Не успеешь и оглянуться, как придет старость—холодная, дряхлая старость. Дай мне только насладиться жизнью, а тогда рази меня косой в пору цветущей юности. Прочь холодный, страшный призрак—старость!

И много раз в разных местах дневника нахожу я это проявление ужаса перед ждущею человека старостью. То же и в стихах тогдашних. Например:

Sed fugit interea,
fugit irreparabile tempus!
Virgilius.

Пользуйся, юноша, жизнью! ты молод, любовию дышишь,
Бодро, беспечно несешь ты и горе, и радость земные,
Крепко, могуче все тело твое и здоровием пышит...
А между тем все бежит, бежит невозвратное время!
Юность промчится... Минует пора молодых увлечений...
Разум холодный воспрянет... Угаснут пылавшие страсти...
И лишь одно сожаленье останется, горькая память о прежних
Быстрых, как радостный сон пролетевших, блаженных мгновеньях
Юности страстной... Увы! ни разум, ни опытность старца,—
Нет,—ничего не заменит кипучих надежд, увлечений



И заблуждений самих промчавшейся юности... Боже!
Что же останется?—Слабость, болезни и холод душевный...
Нет, уже лучше погибнуть в пору расцветания жизни,
Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу!..
Пользуйся ж жизнью своей, не теряй невозвратных мгновений.
Жизни минует весна,—никогда не придет она снова,
И никогда не воротится вновь невозвратное время!..

Все мы растем в презрении к старости и в ужасе перед нею. Но если бы я тогда знал,—а кто это в молодости знает?—если бы я тогда знал, какою нестрашною, какою радостною и благодатною может быть эта грозная старость!

Мне шестьдесят лет. Как бы я, семнадцатилетний, удивился, если бы увидел себя теперешнего, шестидесятилетнего: что такое? И не думает оглядываться с тоскою назад, не льет слез о «невозвратной юности»,—а приветственно простирает руки навстречу «холодному призраку» и говорит: «Какая неожиданная радость!»

Вспоминаю скомканную тревожность юности, ноющие муки самолюбия, буйно набухающие на душе болезненные наросты, темно бушующие, унижающие тело страсти, безглазое метание в гуще обступающих вопросов, непонимание себя, неумение подступить к жизни... А теперь—каким-то крепким щитом прикрылась душа, не так уж легко ранят ее наружные беды, обиды, удары по самолюбию; в руках как-будто надежный компас, не страшна обступившая чаща; зорче стали духовные глаза, в душе—ясность, твердость и благодарность к жизни.

С радостным удивлением нахожу, что не я один так переживаю старость,—не для меня одного она является светлою неожиданностью. Бенвенуто Челлини начинает свою автобиографию так:

«Я приближаюсь к концу пятьдесят восьмого года моей жизни и, размышляя о бесчисленных несправедливостях, сокрушающих человечество, чувствую себя менее, чем прежде, обиженным несправедливостями. Мне кажется даже, что никогда в жизни не пользовался я таким духовным спокойствием и здоровием, как ныне».

У Льва Толстого это особенно часто и сильно. В 1898 г. он пишет в дневнике: «Радостно то, что положительно открылось

в старости новое состояние большого, неразрушимого блага. И это—не воображение, а ясно сознаваемая, как тепло, холод, перемена состояния души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию, и переход, от меня зависящий. Как будто выросли крылья». Гольденвейзер записывает за Толстым: «Как хорошо, как радостно! Я никак не ожидал такого сюрприза! Вот если вы доживете, увидите, как хороша старость. Чем к смерти ближе, все лучше... Если бы молодые люди могли так чувствовать, как в старости. У меня, особенно по утрам, как праздник какой,—такая радость, так хорошо! Я дорожу своею старостью и не променяю ее ни на какие блага мира».

И Гете писал Гегелю: «Я всегда радуюсь вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов *все более развивающейся весны моей души*». Гете в это время было—семьдесят пять лет.

Да, может быть, если бы знала молодость, какая возможна озаренная, поднимающая дух старость,—может быть, она бы менее беззаботно «прожигала» себя.

Разом, до дна осушивши заветную радостей чашу...

Промотать все силы—и потом прийти к мутноглазой старости,—харкающей, задыхающейся, с брюзгливо отвисшей губой и темным лицом. И говорить юности: «Старость—это страшная, проклятая пора человеческой жизни».

Из дневника:

11 февраля 1884 г. Суббота.

В молодости Лафонтен отличался ленью и неспособностью. Но раз, услыхав оду Малерба, он воскликнул: «Я тоже поэт!», как-то бессознательно вдруг почувствовав в себе поэтический талант. Иногда мне хочется воскликнуть то же самое; на меня иногда находит мысль, что я буду великим писателем, и в это время я чувствую в себе такую силу, такой талант, что ничуть не сомневаюсь в этом. Но—увы! Скоро,

скоро проходит это настроение, и тогда я убеждаюсь, что я такой же ничтожный смертный, как большая часть рода человеческого... Я падаю тогда духом: «Неужели я—не поэт?» и утешаю себя тем, что у многих талант обнаружился довольно поздно: Некрасов, напр., только в 25 лет начал писать свои великолепные стихотворения. А до этого времени... Кто не знает, что случилось со сборником его стихотворений: «Мечты и Звуки»? А Монтескье? Свой «L'ésprit des lois» он написал чуть ли не 50 лет, а до тех пор писал такую чушь, что все над ним смеялись и считали его за самого бездарного дурака. Так, напр., он написал многотомное сочинение, в котором исследовал то, «какого именно рода муки ожидают нас в аду?» Прудон советует начинать писать не ранее сорокалетнего возраста. Следовательно, хоть этим можно утешиться. Но, впрочем, какой здесь эгоизм! Ведь не быть же всем поэтами и мыслителями? Я ведь не желаю, чтобы все были ими, а только именно один я; эгоизм, эгоизм, и больше ничего!

Биографам Монтескье, наверно, неизвестно то, что я о нем рассказываю. Никак не могу вспомнить, откуда я почерпнул эти интересные сведения.

На танцовальных вечерах у знакомых я чувствовал себя поодному, когда не было Козеровских, и совсем по-другому, когда они были.

Когда не было: я стоял у стенки с неподвижным, напряженным лицом и глядел на танцующих; преодолевал застенчивость,—подходил к дамам, неловко кланялся и неловко танцовал; решительно не знал, о чем с ними разговаривать. И чувствовал, что им со мной совсем неинтересно.

Когда были Козеровские: я ходил легко, легко танцовал, легко разговаривал и острил. Почти всегда дирижировал. Приятно было

в котильоне итти в первой паре, придумывать фигуры, видеть, как твоей команде подчиняются все танцующие. Девичьи глаза следили за мною и вспыхивали радостью, когда я подходил и приглашал на танец. И со снисходительною жалостью я смотрел на несчастливцев, хмуро подпиравших стены танцовальной залы, и казалось странным: что же тут трудного легко разговаривать, смеяться, знакомиться?

Был раз на масленице бал у Коренковых. Мы приехали. Я спросил: будут Козеровские?—Неизвестно: у них кто-то болен, еще неизвестно, не заразная ли болезнь, ждут, что скажет доктор. И было серо, скучно. И вдруг, уже в десятом часу, приехали Катя и Наташа с Екатериной Матвеевной. Как будто яркое солнце взошло в душе.

Мне Катя особенно помнится в этот вечер. Сколько можно было, я танцовал с нею. С ней очень хорошо было танцовать, очень мы как-то сладились. И говорилось в этот вечер особенно легко и задушевно, и прямо, с нескрываемою любовью, смотрели глаза в милое, легко красневшее лицо... Никогда, ни разу мы с Катей не говорили о любви. И как бы это было грубо, коряво и ненужно! Зачем мне было знать от нее, любит ли она меня, когда ее любовь, как тонкий аромат ландыша, вдыхалась мною из ее улыбки, из мерцанья глаз, из пониженного голоса?

И все-таки, когда вдруг это нечаянно почти сказано было мне словами,—как будто сверкающий счастьем гром ударил над моею головою. Было так. Вышел я из курительной в залу,—вижу: стройный и высокий реалист Винников стоит перед Катею на коленях и просит у нее прощения, а она, взволнованная, смущенная:

— Неправда, ничего такого я не говорила... Вы этого не могли слышать... Я это говорила только Зине... Она не скажет!

Когда я подошел, Катя еще больше покраснела. Винников обратился ко мне:

— Викентий Викентьевич, заступитесь хоть вы за меня!

Я начал просить Катю простить его, хотя не знал, за что она на него сердится. Катя быстро встала и ушла в гостиную.

В курильной Винников мне рассказал, в чем дело. Катя шепталась с Зиной Коренковой, а Винников говорит:—Я знаю, что вы говорите Зине.—«Нет, не знаете. Ну, что?»—Что тут есть один гимназист, и за него вы отдадите всех нас, грешных.

— И оказалось,—попал! Она это, как раз, и говорила.

Я покраснел и спросил:

— Кто же этот гимназист?

— Да будет вам! Неужто не понимаете? Вы, конечно!

Раз'езжались. Было три часа ночи. Я нашим сказал, что пойду пешком, и они уехали. А я пошел бродить по улицам. Пустынны тульские улицы ночью, на них часто раздевают одиноких пешеходов. Но ни о чем я этом не думал. Такое счастье было в душе, что, казалось, лопнет душа, не выдержит; шатало меня, как пьяного. Небо было в сплошных облаках, за ними скрывался месяц, и прозрачный белый свет без теней был кругом, и снег. И грудь глубоко вдыхала легко-морозный февральский воздух.

Подходил к дому мимо угольного дома Костомаровых, рядом с нашим. Светилось одинокое окно во втором этаже. Там, у учителя Томашевича, живет звезда нашего класса, Мерцалов. У него огромная, прекрасно-сформированная голова, мы уверены, что из него выйдет Ньютон или Гегель. В споре о Сократе он совсем забил нашего учителя истории Ясинского, по математике он самостоятельно прошел дифференциальное и интегральное исчисление... Вот! Сидит у себя в комнате всю ночь напролет и изучает интегральное исчисление... Бедняга! Пережил ли он когда-нибудь со своим интегральным исчислением хоть отдаленно что-нибудь похожее на ту радость, в которой сейчас захлебывается моя душа?

Поражает меня в этой моей любви вот что.

Любовь была чистая и целомудренная, с нежным, застенчивым запахом, какой утром бывает от луговых цветов в тихой лощинке, обросшей вокруг орешником. Ни одной сколько-нибудь чувственной мысли не шевелилось во мне, когда я думал о Козе-

ровских. Эти три девушки были для меня светлыми, бесплотными образами редкой красоты, которыми можно было только любоваться.

А в гимназии, среди товарищей, шли циничные разговоры, грубо сводившие всякую любовь к половому акту. Рассказывались скоромные анекдоты, пелись срамные песни:

Попросил ее напиться,—
Она пить мне не дала.
Попросил ее ложиться,—
Она с радостью легла.

Из всех песен, из всех анекдотов выходило, что для женщины все это очень просто, что получить это от нее нет ничего легче, и что она сама постоянно только об этом и думает. В общих тетрадях рисовались совокупляющиеся в разных позах пары. Потихоньку разглядывались особого рода игральные карты: так взять,— карты, как карты, а посмотреть на свет... Ххе-хе-хе!

Я молчал про свою любовь, никому из товарищей про нее не рассказывал. А дома писал корявые стихи такого содержания:

Пусть говорят, что любовь идеальная
Время свое отжила,—
Нет, не смутит нас улыбка нахальная,
Не испугает молва!
Пусть говорят, что в наш век положительный
Эта любовь уж смешна,
Пусть нас пятнают насмешкой язвительной,—
Не испугаюся я.
Только животную, грубую чувственность
Ставят теперь высоко,
Как неестественность, фальшь и искусственность,
Я презираю ее...
Да! Перед чистой красы обаянием
Всякий с молитвой падет!
Верьте, молитвы те чужды желаниям,
Грязная мысль не придет
В ум никому перед нею... Конечно,
Нету почти никого
Нынче, кто любит так чисто, сердечно,
Но отчего ж, отчего?!

Предполагался ответ: оттого, что мало теперь чистых людей,— таких, как я,—не развращенных грубою чувственностью.

Но дело-то в том, что чувственность, самая грубая, самая похотливая, мутным ключом бурлила и во мне. Я внимательно вслушивался в анекдоты и похабные песни, рассматривал, конфузясь, карты на свет, пробовал потихоньку рисовать голых женщин, но никак не выходили груди. В книгах были обжигающие места, от которых дыхание становилось прерывистым, а глаза вороватыми,— а потом эти места горели в книге чумными пятнами, и хотелось их вырвать, чтобы наперед не было соблазна. Все эти места точно помнились и легко находились среди сотен страниц. У Пушкина: «Вишня», «Леда», «Фавн и пастушка», в «Руслане и Людмиле», как красавица подходит к спящему Ратмиру

И сон счастливца прерывает
Лобзаньем долгим и немым.

В «Бахчисарайском Фонтане»,—как евнух смотрит на купающихся ханских жен и ходит по их спальням. Потом еще—примечание на первой странице «Дубровского», что у Троекурова в особом флигеле содержался гарем из крепостных девушек. И у каждого писателя были такие тайно отмеченные в памяти места.

А потом—ломота в голове, боли в позвоночнике, мрачное, подавленное настроение.

Я развращен был в душе, я с вожделением смотрел на красивых женщин, которых встречал на улицах, с замиранием сердца думал,—какое бы это было невообразимое наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно ласкать. Но весь этот мутный душевный поток несся мимо образов трех любимых девушек, и ни одна брызга не попадала на них из этого потока. И чем грязнее я себя чувствовал в душе, тем чище и возвышеннее было мое чувство к ним.

Вот я сейчас сказал: «Три любимые девушки»... Да, их было три. Всех трех я любил. Мне больше всех нравилась то Люба, то

Катя, то Наташа, чаще всего—Катя. Но довольно мне было видеть любую из них,—и я был счастлив, мне больше ничего не было нужно. И когда мне больше нравилась одна, у меня не было чувства, что я изменяю другим,—так все-таки много оставалось любви и к ним. И при звуке всех этих трех имен сердце сладко сжималось. И сжимается сладко до сих пор.

Меня самого удивляло и смущало: как это? Разве когда-нибудь любят трех сразу? Пробовал любить одну какую-нибудь из трех. Ничего не выходило: и обе другие так же были милы, и, когда я видел любую из них, душа расширялась, как будто крылья развертывала, и все вокруг заполнялось солнечным светом.

И я признал факт. И писал в своем дневнике.

19 февраля 1884 года. Воскресенье.
10 час. вечера. В гостиной гости.

Очень интересен следующий психологический вопрос: возможно ли сразу полюбить трех женщин (полюбить—в смысле влюбиться)? Вопрос этот тем более заслуживает самого серьезного внимания, что, как кажется, до сих пор не был разработан ни одним романистом. Если у меня окажется впоследствии какой-нибудь талант, то непременно выведу такую любовь, потому что она мне кажется возможной. Еще Достоевский сказал, что «трудно себе представить, за что и как можно полюбить». Физическая красота, но *главным образом* какие-то неуловимые духовные особенности любимой личности (мужской или женской) заставляют нас именно ее считать выше всех остальных, представлять ее идеалом всех женщин (я говорю—женщин, потому что рассматриваю этот вопрос, как мужчина),—и именно идеалом, т.-е. образцом для всех других женщин. Примеров этому тьма. Возьмем ли мы серенады средних веков (см. серенаду Дон-Жуана в драме графа Ал. К. Толстого «Дон-Жуан»), возьмем ли любовные стихотворения современных поэтов,—везде видно

одно и то же: всякий свою деву называет прекраснейшей в мире. И вот теперь возникает психологический вопрос, который должен заставить задуматься всякого мыслящего человека: почему невозможно, что физические и психические особенности нескольких женщин сразу оказывали бы совершенно одинаковое влияние на сердце? А раз это так, то человек легко может сразу любить трех девушек. Обыватель-мещанин над этим посмеется, но человек с самостоятельною мыслью в голове может над этим очень глубоко задуматься.

Из дневника.

20 февраля. Понедельник.

Читаю теперь «Даниеллу» Ж. Занд. Я прочел уже несколько ее романов, и везде одна и та же основа— любовь. Бедная! она не понимает другой любви, кроме самой скотски чувственной... Вот, вместе с Чернышевским, истая представительница нашего положительного века!

Должен сознаться,—Чернышевского я не читал: только слышал, что он в романе «Что делать?» проповедует самый бесцеремонный разврат.

---

10 марта. Суббота.

Спасибо Тургеневу! Сколькими сладкими, дорогими минутами жизни я ему обязан! Для меня он— первый поэт в мире. Во время неудач, невзгод я прибегаю к нему и, при чтении его, душа очищается, тоска пропадает. При нем забываешь все дрязги жизни, уносишься в далекий, идеальный мир... И в это-то время как жаль мне темных, необразованных людей, которым недоступны высшие духовные и эстетические наслаждения! Как не вспомнить тут слов Жорж-Занд: «Когда я подумаю, как мало нужно для благоденствия

человека, который много живет умом, я всегда удивляюсь алчности к богатству и стремлению к роскоши».

---

2 апреля. Понедельник Страстной.
12 час. ночи.

Говенье началось. Сегодня у обедни были Козеровские. Я совсем не мог молиться: они стояли как раз передо мной, и я все время службы не отводил глаз от Кати. Коса у ней, если только это возможно, стала еще роскошнее. Стройная, грациозная, нужно было видеть, как она преклоняла колени, подымалась, крестилась... Любы не было в церкви.

---

4 апреля. Среда.

Вижу их (издали) почти каждый день. И все-таки— неужели не увижу их до рождества?! Экзамены, потом летом—в деревню, осенью—в Петербург. Сколько времени жить надеждой на краткое свидание!

А годы проходят, все лучшие годы...

7 апреля. Великая суббота.

Козеровских ни вчера, ни сегодня я в церкви не видел. На столе беспорядок, нужно бы прибрать к празднику, но ничего делать не хочется... Может быть, Козеровские будут у заутрени... Конечно, надежды и тогда очень мало, чтобы могли пригласить к себе,—а без приглашения я и сам не пойду, но все-таки хоть наглядусь на Катю...

---

10 час. вечера.

Почти все в доме спят. В столовой приготовляют стол для розговен... Через час все пойдут к заутрене... Если *Катя* будет там...

---

3 часа ночи.

Ура! Ура! Ура! Была и Катя, и Люба! Но главное, главное,—я себя не узнаю: после окончания заутрени *прямо*, *сам* подошел к ним и поздравил их с праздником. Люба меня пригласила завтра к ним... О, блаженство! Правда, то, что я сам подошел к ним,—это была решимость отчаяния: в противном бы случае я не увидел бы их до будущего рождества. Но теперь... теперь не думай о будущем, а наслаждайся настоящим:

Greife schnell zum Augenblike:
Nur die Gegenwart ist dein!
Урра!

---

8 апреля. Светлое воскресенье.

Только что пришел от Козеровских. Люба и Катя... Обе они мне теперь совершенно одинаково правятся. Не хочу думать о будущем,— о муках тоски, о страданиях долгой разлуки,— «Nur die Gegenwart ist dein!» Завтра опять пойду к ним.

Всю пасху я бывал у них каждый день. Теперь мне больше всех стала нравиться Люба. Она в этом году тоже держала выпускные экзамены и тоже, как я, могла рассчитывать на золотую медаль. Мы условились: когда кончу курс, обязательно приду к ним, и мы с Любою должны будем друг другу показать экзаменационные отметки, какие бы они ни оказались. Главная тут радость была в том, что, значит, будет тогда предлог опять прийти к Козеровским. И еще радость, совсем уже нежданная: Козеровские летом жили всегда в городе,—на это лето они сняли под Тулою дачу; и Мария Матвеевна мельком сказала мне:

— Может быть, Витя, вы к нам летом приедете на дачу?

Если приду после экзаменов к Любе, если Мария Матвеевна еще раз серьезно пригласит к ним на дачу, тогда... Что будет тогда?!.. Дух занимало от блаженства.

Я говорил, что с седьмого класса перестал интересоваться отметками и наградами. Нет, должно быть, это было не так. Во всяком случае, помню,—мне очень хотелось кончить курс с золотою медалью; на словах высказывал полное безразличие и даже презрение, но в душе очень хотелось.

Выпускные экзамены тянулись больше шести недель. Сначала шли письменные по всем предметам. Обставлены были экзамены торжественно и строго. Они происходили в огромном актовом зале, для каждого экзаменующегося полагалась отдельная парта, парты были расставлены так далеко друг от друга, что никакие сношения не были возможны. Торжественно входили директор, инспектор, учителя, делегат от округа, читалась молитва перед учением. Потом директор благоговейно вскрывал большой, запечатанный сургучными печатями конверт, присланный из округа, и громко диктовал нам—темы для сочинения, математические задачи или текст для перевода. Пока мы делали экзаменационную работу, дежурный учитель расхаживал по зале; если ученику нужно было «выйти»,—его сопровождал надзиратель.

После письменных пошли устные. Тоже было очень торжественно. На экзамене по закону божию присутствовали архиерей, губернатор, городской голова и другие важные лица. Тут мне пришлось увидеть, что очень меня поразило. Вошел губернатор, Сергей Петрович Ушаков, с седыми баками, очень похожий на Александра II. Говорили, будто он—незаконный сын Николая I, и будто он этим,—к нашему изумлению и смеху,—очень гордился. Городской голова, важный старик в длиннополом сюртуке, с золотыми и серебряными медалями на шее, вскочил и низко поклонился. Губернатор приветливо кивнул ему и протянул — мизинец руки. Не всю руку, а только мизинец. Я ясно видел: все пальцы поджал, и только мизинец оттопырил. И голова не оттолкнул с негодованием протянутую руку, не отвернулся. Он почтительно изогнулся и благоговейно пожал мизинец. И потом этим самым людям мы благочестивыми голосами излагали основы учения любви к людям и христианского смирения...

Та весна была великолепная,—яркая, жаркая и пышная. Я вставал рано, часов в пять, и шел в росистый сад, полный стреко-

тания птиц и аромата цветущей черемухи, а потом—сирени. Закутавшись в шинель, я зубрил тригонометрические формулы, правила употребления энклитики и порядок наследования друг другу средневековых германских императоров. А после сдачи экзамена с товарищем Башкировым приходили мы в тот же наш сад и часа два болтали, пили чай и курили, передыхая от сданного экзамена.

Сирень отцвела и сыпала на дорожки порыжевшие цветки, по саду яркой бело-розовой волной покатились цветущие розы, шиповник и жасмин. Экзамены кончились. Будет педагогический совет, нам выдадут аттестаты зрелости,—и прощай, гимназия, навсегда! Портному уже было заказано для меня штатское платье (в то время у студентов еще не было формы), он два раза приходил примерять визитку и брюки, а серо-голубое новенькое летнее пальто уже висело на вешалке в передней.

В гимназии мы без стеснения курили на дворе, и надзиратели не протестовали. Сообщали, на какой кто поступает факультет. Все товарищи шли в московский университет, только я один—в петербургский: в Петербурге в горном институте уже два года учился мой старший брат Миша,—вместе жить дешевле. Но главная, тайная причина была другая: папа очень боялся за мой увлекающийся характер и надеялся, что Миша будет меня сдерживать.

В последний раз собрались в гимназии. Нам выдали аттестаты зрелости, учителя поздравляли нас и, как полноправным теперь людям, пожимали руки. Мне дали серебряную медаль,—единственную на наш выпуск. Золотой не получил никто. Было неприятно говорить о медали: или бы золотую, или бы уж лучше совсем ничего.

После обеда в первый раз я вышел на улицу в штатском пальто, с тросточкою в руках. В руке держал папироску и курил спокойно, не оглядываясь по сторонам.

Папа был в школе Козеровских годовым врачом. От него я узнал, что все Козеровские уже переехали на дачу, в Туле только Мария Матвеевна и Люба. Люба кончила курс с золотою медалью. Через папу она передала мне, что ждет исполнения моего обещания.

Я пришел к ним. Всё в те блаженные дни было необычно-радостно, торжественно и по-особому значительно. Блеск июньского дня; эта девушка с длинною косою и синими глазами; огромные, теперь пустынные комнаты школы с мебелью и люстрами в чехлах; и я в штатском костюме, с папиросой, и не гимназист, а почти уже, можно сказать, студент.

Софье Аполлоновне понадобился ее Гейне, она взяла его у меня. Люба говорила, что у нее есть «Buch der Lieder» на немецком языке. Я попросил у нее книжку на лето,—очень мне нравился Гейне, и хотелось из него переводить. Люба немножко почему-то растерялась, сконфузилась и принесла мне книжку. Одно стихотворение («Mir träumt',ich bin der liebe Gott») было тщательно замазано чернилами,—очевидно, материнскою рукою. А на заглавном листе рукою Любы было написано:

> Все нехорошо,—с сухою глупостью и немецкой сантиментальностью, без чувства, поэзии и рифмы.

Я в душе ахнул, и в первый раз мне захотелось приглядеться к Любе попристальней. Но так задушевно звучал ее голос, и с такою лаской смотрели на меня синие глаза, что очень скоро погасло неприятное ощущение.

И вдруг Мария Матвеевна, прощаясь, спросила:

— Ну, что же, Витя, приедете вы к нам на дачу?

Я вспыхнул от радости и смущения.

— Если позволите... Я с удовольствием...

Все расспросил,—как приехать, какая дорога,—условились в конце июня. Люба, пожимая мне руку, сказала:

— Смотрите же, Витя, приезжайте!—и, понизив голос, прибавила:—я и подумать не могу, чтоб мы с вами не увиделись до вашего от'езда в Петербург.

Я шел домой в сумерках. В садах пели соловьи. И соловьи пели в душе.

Все наши давно уже были во Владычне. Один папа, как всегда, оставался в Туле,—он ездил в деревню только на праздники. Мне

с неделю еще нужно было пробыть в Туле: портной доканчивал мне шить зимнее пальто. Наш просторный, теперь совсем пустынный дом весь был в моем распоряжении, и я наслаждался. Всегда я любил одиночество среди многих комнат. И даже теперь, если бы можно было, жил бы совершенно один в большой квартире, комнат в десять.

Погода попрежнему была сверкающая, в раскрытые окна глядела налитая солнцем зелень сада, по блестящим полам медленно двигались под сквознячком легкие стаи пушинок от тополей. В душе было послеэкзаменное чувство огромного облегчения и освобождения; впереди—Петербург, студенчество; через две недели—к Козеровским. И я писал:

BEATUS SUM!

Славное время! Небо так чисто,
Сердце блаженства полно!
Дни так блестящи, так чудно-душисты,—
Ночи так темны, так влажно-росисты,—
Чего же мне больше, чего?

Силою дышит грудь молодая,
На сердце так легко, светло!
С прошедшим простился я. Ясно сияя,
Мне будущность много сулит золотая,—
Чего же мне больше, чего?

Славное время! Свиданья мгновенье
Уж близко, тоска далеко.
О, близки, уж близки любви наслажденья,—
Блаженство свиданья, восторг вдохновенья,—
Чего же мне больше, чего?

Справил свои дела, уехал во Владычню. Там сразу, конечно, вошел в деревенские работы,—возил навоз, косил траву коровам. Через две недели приехал обратно в Тулу. Дача Козеровских была верст за десять от города. Папа своей лошади дать не мог. Пришлось разориться,—нанять за три рубля извозчика. Поехал в своем серо-голубом пальто, с замирающею от волнения душой. Мягкое

покачивание городской пролетки, серебристо-зеленые волны по ржи, запах полевых цветов, конского пота и дегтя,—милый запах: его вечно будет любовно помнить всякий, кто путешествовал на лошадях по родным полям.

Что помню из этого посещения Козеровских? После обеда была общая прогулка. Ореховые кусты, разбросанные группы молодых берез, цветущая Иван-да-Марья на лесных полянах. Сидели на разостланных пальто и платках,—девочки, тети,—болтали, смеялись. Черноглазая француженка с пышным бюстом задорно пела, плохо выговаривая русские слова:

Расска́житэ ви ей, свети мои...

Как всегда вначале посещения, я был застенчив, ненаходчив, придумывал, что сказать, и сразу чувствовалась придуманность. И Люба смеялась на мои остроты,—я это видел,—деланым смехом. Сам себе я был противен и скучен, и дивился на всех,—как они могут выносить скуку общения со мной? И стыдно было,—как я смел сюда приехать, и грустно было, что я—такой бездарный на разговоры.

Потом возвращались. Солнце садилось. Мы с Любою отстали от остальных—и разговорились. Что-то случилось, какая-то шестерня стала на свое место,—и я стал разговорчив, прост и знал теперь: все время уж буду легко разговаривать и держаться свободно.

Пришли домой. Пора было ехать. Марья Матвеевна предложила мне остаться ночевать и отпустить извозчика: завтра она едет в город и подвезет меня. Девочки в восторге стали меня упрашивать, Катя захлопала в ладоши:

— Витя, Витя! Оставайтесь!

Конечно, остался. От вечера самое сильное сохранилось воспоминание: в первый раз милых мне девушек я видел в глубине домашней жизни, не праздничными, какими они всегда являлись мне в Туле. Особенно Катю помню—в простеньком ситцевом платье, как она после ужина сидела за столом и что-то зашивала. Странно было в ее красивых пальчиках видеть иголку и нитку, странно было видеть прелестную головку, наклонившуюся над такой буднич-

ною работою. Странно—и умилительно. Был канун Ивана-Купала, мы говорили о кладах, о цветущих папоротниках.

Разошлись поздно. Я пришел в отведенную мне комнату, лег спать. Через две недели я так описывал ощущения, переживавшиеся мною в ту ночь:

Ich bin dir nah...
Th. Körner.

Уж полночь. Свет свой ясно-серебристый
В окно мне льет луна,
И ароматом лип и резеды душистой
Вся комната полна.
Настал Иванов день. Перед рассветом
Сегодня кладов ищут по лесам,
Сегодня папортник таинственным расцветом
К себе манит искателей... Не там
Мой драгоценный клад. Не под густою мглою
Деревьев,—нет, мой клад недалеко:
Под этой кровлей, здесь, да, рядом здесь со мною,—
Здесь радость, жизнь, сокровище мое.
Ты спишь, наверно... Кладов всей вселенной,
Сокровищ мира нашего всего
Я не взял бы за клад свой драгоценный...
Спи, жизнь, любовь, сокровище мое!

Жульническим образом стихотворение это я пометил не тем числом, когда оно было написано, а так: 23 июня 1884 г. 12 ч. ночи. Как будто в эту самую ночь, лежа в отведенной мне комнате, я вдохновенно изливал затоплявшие сердце чувства. Никакого, конечно, запаха резеды в комнате не было, липы тогда еще не цвели, да и месяца в то время не было. Но главное—и чувства в то время совсем не было такого. Не до него мне было! Люба очень любила собак. На дворе были три огромных дворовых собаки. Люба восхищалась ими, спрашивала меня: «Правда, какие милые?» И мне они были милы, потому что они нравились Любе, и я ласкал их, а они на меня напустили несчетное количество блох. Ух, какие ядовитые были блохи! Нигде никогда таких не встречал потом. Только что задремлешь, и как будто кто раскаленную иглу воткнет в тело;

вскочишь и начнешь всею горстью чесаться, и ищешь, и ничего не находишь... Так тянулось всю ночь, заснул я, когда уже солнце взошло. Мог-ли я при этом думать еще о каких-нибудь кладах,— тех-ли, которые прятались под густою мглою деревьев,—тех ли, которые покоились под одною со мною кровлей?

Кончили гимназический курс мы,—кончили и наши товарищи-гимназистки. Но какая была разница в настроениях!

Перед нами в смутной дымке будущего тускло-золотыми переливами мерцала новая жизнь, неизведанное счастье: столица, самостоятельность, студенчество, кружки, новые интересы. Так для нас.

Для них, для кончивших гимназисток, ничего не было в будущем нового и таинственного. Все впереди было просто и обычно: наряжаться, выезжать, танцовать, кокетничать под настороженными взглядами родителей: «Ну, что? клюет?» И ждать, когда кто возьмет замуж. А не возьмет,—жить стареющею девою на попечении родителей или у замужней сестры на положении полу-экономки, полу-бонны. Все пути к высшей школе были перегорожены наглухо. Александр III был ярый враг высшего женского образования. Немногочисленные высшие женские учебные заведения, которые существовали в предыдущее царствование, либо были закрыты, либо доживали последние годы: доводили до выпуска наличные курсы, а новых уж не принимали. Так-же крепко были загорожены и пути к самостоятельному заработку: учительница—больше ничего почти не было.

И с грустной завистью смотрели оставявшиеся девушки на наше предот'ездное оживление.

1925—1926
Ай-Тодор. Москва.
Коктебель.



Цена 1 р. 75 к.
переплет 70 к.



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
„НЕДРА“

Редакция и контора—Москва, площ. Свердлова, д. 2/7.
Тел. 5-05-98, 2-17-71.

Прием заказов и подписки в конторе издательства, а также в [illegible]дательстве „Московский Рабочий“—Кузнецкий Мост, 7.